SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- Евгений Соловьев
  - ГЛАВА I. ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ
  - ГЛАВА II. РУССО И НЕХЛЮДОВЩИНА
  - ГЛАВА III. НА КАВКАЗЕ
  - ГЛАВА IV. ПОД СЕВАСТОПОЛЕМ
  - ГЛАВА V. В ПЕТЕРБУРГЕ
  - ГЛАВА VI. В ДЕРЕВНЕ И ЗА ГРАНИЦЕЙ
  - ГЛАВА VII. ВТОРАЯ ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
  - ГЛАВА VIII. ПИСАТЕЛЬСКАЯ ДРАМА
  - ГЛАВА IX. СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
  - ГЛАВА X. БОЛЬШИЕ РОМАНЫ
  - ГЛАВА XI. О ПЕССИМИЗМЕ И РУСОФИЛЬСТВЕ ГРАФА ТОЛСТОГО
  - ГЛАВА XII. КРИЗИС
  - ГЛАВА XIII. УЧЕНИЕ ТОЛСТОГО
  - ГЛАВА XIV. НА ВЕРШИНЕ СЛАВЫ
  - ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  - ИСТОЧНИКИ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18

Евгений Соловьев
Лев Толстой. Его жизнь и литературная деятельность

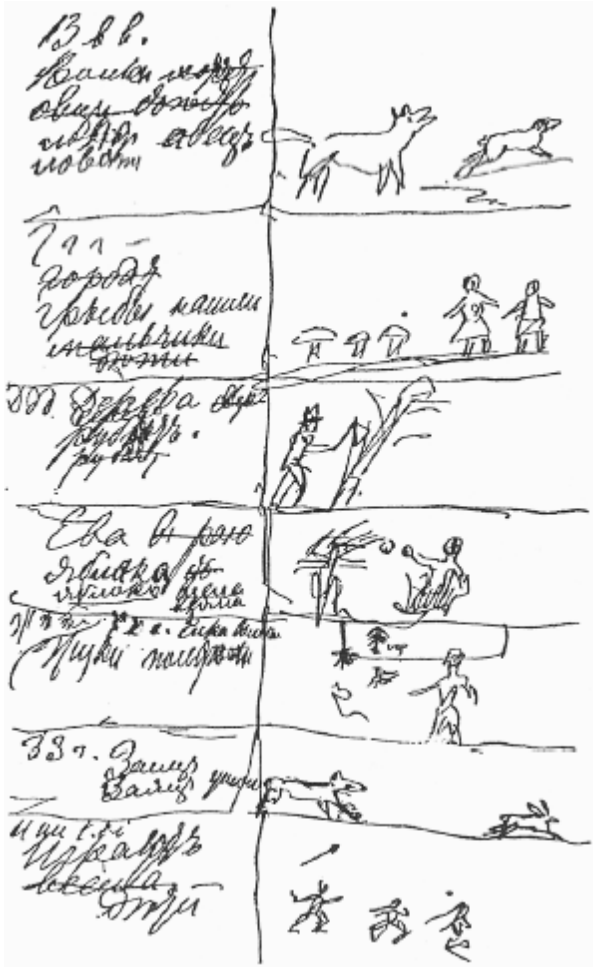
Биографический очерк Евгения Соловьева.

С портретом Толстого, гравированным в Петербурге К. Адтом.

ГЛАВА I. ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ

В течение XIX века несколько лиц занимали первое место в европейской литературе и являлись общепризнанными главами умственного движения. Сначала такое место принадлежало Гете, к каждому слову которого жадно прислушивался весь образованный читающий мир; после Гете долгое время литературный престол оставался незанятым, пока среди общих рукоплесканий на него не воссел блестящий и нервный Виктор Гюго. По смерти Виктора Гюго самым видным представителем литературы и главой ее стал без всякого сомнения “великий писатель земли русской”, граф Лев Николаевич Толстой.

Графа Толстого знает теперь весь читающий мир на любой параллели и на любом меридиане. Иностранная критика, в лице самых блестящих своих представителей, таких, как Вогюэ, Цабель, Брандес, уделяет ему гораздо больше внимания, чем критика русская. Но я не знаю, есть ли в России человек, так или иначе причастный к литературной или философской критике, который не обострил бы своего пера о произведения графа Толстого. Не могу припомнить всех, кто писал на эту тему, но если назвать Д. Писарева, Анненкова, Григорьева, Михайловского, Скабичевского, Протопопова, профессора Козлова, Н. Страхова и т. д., – то и этих имен будет достаточно. Есть люди, избравшие своею специальностью пропаганду идей графа Толстого. Есть другие, преследующие эти идеи с ожесточением и так сказать по пятам, например профессор Казанского университета г-н Гусев. В период 1886–1889 годов и даже позже нельзя было взять в руки номера газеты или журнала, чтобы не натолкнуться на суждения о Толстом. Стоит припомнить, какой шум произвела “Крейцерова соната” – шум настолько всеобщий, что даже музыкальные издатели поторопились выпустить в свет эту забытую сонату Бетховена, хотя ни малейшего отношения ни к музыке, ни к Бетховену произведение Толстого не имело. Все выходящее из-под пера Толстого вы можете встретить в самых разнообразных слоях общества: его пьесы даются при дворе, его сказки, азбука и хрестоматия читаются в деревнях.



Записи и рисунки к “Азбуке”

Теперь мне приходится пользоваться девятым полным собранием сочинений Толстого. Это небывалый в России факт: Пушкин при жизни видел одно полное издание своих творений, Тургенев – три, Достоевский вышел в “посмертном”.

Не менее имени графа Толстого известно и название его родового поместья – Ясная Поляна. Кто не был или кому по крайней мере не хотелось бы там побывать? Заглянем и мы туда…

Расположенное в Крапивенском уезде Тульской губернии, в пятнадцати верстах от города Тулы, имение Ясная Поляна является местом, куда постоянно стекаются бесчисленные посетители и поклонники Л.Н. Толстого.

Ясная Поляна – родовое имение князей Волконских,

перешедшее теперь к роду графов Толстых, – внешним своим видом ничем не отличается от обыкновенных барских поместий средней полосы России, и если имя его стало общеизвестным, то лишь потому, что здесь родился, провел свое детство и почти безвыездно всю вторую половину своей жизни Лев Николаевич Толстой. “Война и мир”, “Анна Каренина” и все многочисленные произведения последних лет: “Исповедь”, “В чем моя вера”, “Смерть Ивана Ильича”, “Крейцерова соната” и т. д. – были созданы в Ясной Поляне. Как Ферней Вольтера или Коппе m-me Сталь или Мекка Магомета, оно известно всему миру.

Ясная Поляна, ее веселое и живописное положение, окружающий ее огромный казенный лес Засека, сама усадьба с вековыми липовыми аллеями, посаженными прадедом князем Волконским, четыре пруда и вечно запущенный барский сад, обнесенный валом, описывались десятки раз как русскими, так и иностранцами. Про две круглые кирпичные башни, расположенные в замке вала, возле которых когда-то, в начале века, постоянно дежурил часовой, свидетельствуя своим присутствием о знатности помещика, генерала времен Павла I, – знают одинаково и у нас, и в Европе, и в Америке. Теперь эти старые кирпичные башни полуразрушены, обросли мхом, а наследник гордого генерала и князя Волконского, в простой рабочей блузе синего цвета и высоких сапогах, беседует со своими посетителями и поклонниками о жизни по учению Христа и о тайне смерти, “отстранить которую от себя не может человек никакими грозными каменными башнями, никакими вечно дежурящими часовыми”.

В Ясной Поляне возвышался когда-то почтенный барский дом с бесконечной анфиладой зал и комнат, где старое барство, окруженное покорною толпой холопов, тешило свою гордость громадными доходами и безмерною властью над крепостными подданными. Почтенный барский дом сгорел уже давно, и вся усадьба состоит теперь из двух флигелей: в одном живет граф Толстой со своим семейством, очень многочисленным, а другой предназначен для паломников Ясной Поляны и гостей.

Флигель, занятый семейством графа Толстого и им самим, – двухэтажный, очень простой архитектуры и без всяких украшений снаружи. Внизу находятся кабинет графа, его библиотека и спальня. Нигде и ни в чем не заметно даже следов роскоши и того огромного миллионного состояния, которым обладает хозяин. Напротив, обстановка помещения поражает своей простотой, и лишь портреты предков, развешанные в зале верхнего этажа, говорят еще, что посетитель находится в гнезде старинного барства.

Кабинет самого Л.Н. Толстого напоминает комнату прилежного и небогатого студента. Стол, несколько стульев, диван, этажерка составляют всю мебель. В углу стоит бюст давно умершего старшего брата Льва Николаевича, Николая Толстого; по стенам развешано несколько картин. Между этими последними есть портрет Шопенгауэра и фотографически снятая в 1856 году группа русских писателей: Толстой, Григорович, Гончаров, Тургенев, Дружинин и Островский. Л.Н. Толстой изображен в военном мундире, со скрещенными на груди руками; во всей его гордо выпрямившейся фигуре, а особенно в небрежном взгляде вдумчивых глаз есть, как нам показалось, что-то лермонтовское. Группа любопытна: писатели земли русской не часто бывают вместе, еще реже живут дружно между собой; и правда – через немного лет Гончаров рассорился с Тургеневым, Тургенев хотел драться на дуэли с Толстым… Но тогда еще все обстояло мирно и дружелюбно.

Библиотека графа богата и заключает в себе сочинения на шести или семи языках, которыми Л. Толстой свободно владеет. Здесь можно найти всех классиков русской литературы и массу сочинений по богословию. Наперекор духу конца нашего века, Тертуллиан и Василий Великий заменяют собой Дарвина и Маркса, а холодные, огромные книги Спенсера уступили свое место толкованиям Евангелия.

Сам хозяин и кабинета, и библиотеки, граф Толстой, свободно допускает к себе каждого, кто вздумает прийти или приехать к нему. Он никогда не отказывается от разговора и поучения, и для всякого у него есть если не ласковое слово утешения, то, по крайней мере, всегда искреннее и правдивое слово. Слишком многочисленные посетители быть может и утомляют его, но граф не жалуется. Не жалуется он и на то, что многие из этих посетителей вкривь и вкось рассказывают о своих с ним беседах в различных журналах и газетах. И назойливость, и ложь исчезают как незначительная мутная струя в море обожания и восторга, окружающем графа Толстого. Это обожание и восторг растут изо дня в день, и наперекор общему правилу растут по мере того, как мы ближе знакомимся с жизнью писателя и даже семейной его обстановкой. В этой жизни, как кажется, нет уже более тайн: сам граф Толстой не считает нужным скрывать ничего, что касается его лично. Увлечения и ошибки своей молодости, свои душевные муки, едва не доведшие его до самоубийства, он подробно и страстно описал сам в своих произведениях. Его поклонники, как Левенфельд, родственники, как Берс, рассказывают нам об обстановке его жизни, которую видели собственными глазами. “У меня ни от кого на свете нет

никаких тайн! Пусть все знают, что я делаю, если хотят", – часто говорил Л. Толстой.

Эти его слова, между прочим, и позволяют нам приступить к его биографии.

Граф Лев Николаевич Толстой родился 28 августа 1828 года, следовательно, теперь он перешел уже тот предельный возраст, который преодолевали лишь очень немногие русские писатели, например Державин, и однако ни его физические силы, ни творческий гений не ослабли заметно: достаточно вспомнить, что всего пять лет тому назад была создана "Крейцерова соната", многие сцены которой могут сравниться с лучшими сценами "Войны и мира".

Предком Л.Н. Толстого был современник и друг Петра I, пожалованный за свои заслуги и, между прочим, за измену царевне Софии, Петр Андреевич Толстой, потомок выходца из Пруссии, носившего прозвание Dick, что по-русски и значит "толстый". Отсюда и фамилия – Толстые. Граф Петр Андреевич занимал важный дипломатический пост – был послом в Константинополе, не раз сиживал в Семибашенном замке в случае разногласий султана и императора и по смерти завещал своему роду хорошее состояние и легкую карьеру при дворе.

Браки Толстых всегда были аристократические, без малейшего признака mèsalliance'a. Например, мать Льва Николаевича – княжна Волконская, бабушка – княжна Горчакова, бабушка по матери – княжна Трубецкая и т. д. Волконские, Горчаковы – прямые потомки Рюрика и владетельных Рюриковичей. Сам граф Лев Николаевич внешностью своей сильно напоминает своего деда князя Николая Андреевича Волконского (в "Войне и мире" Болконского), хотя значительно крупнее его фигурой. "У обоих открытый и высокий лоб с творческими шишками; музыкальные шишки, далеко выдающиеся вперед, покрыты густыми отвисшими бровями, из-под которых точно проникают в чужую душу небольшие и глубоко сидящие серые глаза". Значит, вполне прав был граф Толстой, когда впоследствии, до периода вероучения, находил источник гордости своей в том, что он – "чистый аристократ". Кровь Толстых на самом деле в течение почти двух столетий была чиста от всякой примеси каких-нибудь разночинных элементов. Портреты, украшающие залу яснополянского дома, принадлежат все без исключения титулованным особам, князьям и графам, в звездах и лентах, генералам и тайным советникам. Родовое древо князя Болконского поддерживает святой Михаил, князь Черниговский, погибший когда-то смертью мученика в Орде. Традиции, унаследованные Толстым, – это традиции старого

русского барства, – обстоятельство, как мы это ниже увидим, далеко не лишенное интереса и своеобразного значения. Это “старое барство”, при Петре Великом переименованное из бояр, стольников, окольничих и т. д. в советники различных категорий, стригшее себе волосы, брившее бороды, одевавшееся в немецкое платье, ездившее в заморские страны, – мечтало об “ограждении прав своих” и, быть может, о чем-нибудь даже большем при Петре II и Иоанне VI, вынесло жестокую ферулу Бирона при Анне Иоанновне, расплатившись полностью за свои конституционные мечтания; достигло небывалого расцвета при дворе Екатерины; гордо замкнулось в своих усадьбах при Павле Петровиче; стояло впереди русского общества при Александре I, впервые проникшись тут духом народолюбия и западными просветительными идеями, и оказалось почти не у дел в царствование императора Николая. Умственный расцвет этого старого барства – первая четверть нашего века – эпоха, к которой всегда с особенной любовью обращался граф Толстой, почерпнувший в ней содержание своей гениальной эпопеи “Война и мир” и начатых, но неоконченных “Декабристов”. Старое барство беспокойно волновалось тогда, искало правды и обновления в масонстве, мистицизме, “деятельной добродетели”, составляло глухую оппозицию Аракчееву, Магницким и Руничам и после безумных по полному отсутствию какой бы то ни было программы декабрьских дней опять затолкалось и заинтриговало на дорожках военной или придворной карьеры. Своеобразная сословная гордость отличала это старое русское барство, и для лучших его представителей мужик и народ были несомненно всегда ближе, родственнее и понятнее, чем разночинец, торгаш или иной какой-нибудь представитель третьего сословия. Свою антипатию к этим новым элементам русского общества, а вместе с тем и народолюбие, старое барство стало выказывать уже со времен Радищева, и не раз выказывал ее, как мы увидим ниже, и граф Л.Н. Толстой. Отец графа Л.Н. Толстого, подполковник Павлоградского гусарского полка, Николай Ильич Толстой участвовал в кампании 1812 и 1813 годов. Видный, пленительный мужчина, пользовавшийся большим успехом в свете, он получил от отца своего, графа Ильи Андреевича, совершенно расстроенное состояние. Чтобы не бросить тени на память отца, он, как Николай Ростов в “Войне и мире”, удовлетворил всех кредиторов и остался ни с чем. На руках его была старая мать, урожденная княжна Горчакова, привыкшая, разумеется, к роскошной жизни и не думающая о завтрашнем дне, и родственница Т.А. Ергольская, впоследствии воспитавшая Льва Николаевича и жившая с ним до самой смерти. На скромное жалованье офицера Николай Ильич

существовать не мог, и родственники его для поправления обстоятельств прибегли к обычному средству старого барства и женили его на немолодой, некрасивой княжне Марье Ивановне Волконской, единственной наследнице одного из богатейших русских вельмож. Эта семейная история послужила впоследствии канвой для другой истории, с такой поэтической прелестью рассказанной в “Войне и мире”. Разорение семейства Ростовых, расчет с кредиторами, выход Николая Ростова в отставку, его женитьба на некрасивой княжне Волконской известны всякому русскому читателю. Но действительность преломилась сквозь призму поэзии, и, идеализируя предания своей семьи и старого барства вообще, граф Толстой ввел целую любовную эпопею между Николаем Ростовым и Марьей Волконской, почему на страницах романа брак является устроенным по любви, а не по расчету. Каков бы, однако, он ни был, брак оказался вполне пристойным. Родители Льва Николаевича жили преимущественно в Ясной Поляне, и семейная жизнь их протекала счастливо и безмятежно. Графиня Толстая, мать Льва Николаевича, умерла в 1831 году, когда ее сыну было всего три года с небольшим. Шесть лет спустя сошел в могилу и граф Николай Ильич, и будущий великий писатель девяти лет от роду остался круглым сиротой.

Что были за люди родители графа Толстого, мы знаем очень мало. Портреты их в “Войне и мире” (Николай Ростов и Марья Волконская) очевидно идеализированы, чтобы можно было положиться на них как на документ. В романе Николай Ростов – прекрасный хозяин, влюбленный в свою жену, в духовность и нежность ее натуры, – человек недалекий, недолюбливающий рассуждений и не умеющий рассуждать, – прекрасный офицер и завидный служака, успокоившийся на том, что для рассуждений поставлены другие, высшие его, – и вместе с тем честная, открытая, непосредственная натура, обаяние которой – в ее правдивости, хотя и узкой. Такой же характер и у Вронского. В этих натурах нет разума, но есть рассудительность; нет героизма, но есть мужество; нет справедливости, но есть честь и честность. Они – исполнители, и самостоятельное мышление для них заменяют приказания и указания. Что именно таким не был отец Льва Николаевича, это можно утверждать наверное, и одинаково наверное можно утверждать, что во многом портрет и подлинник схожи между собой. Граф Николай Ильич во всяком случае не был творческой натурой, что никак нельзя сказать о его жене. Про эту последнюю рассказывают, что “когда она, в молодости, бывала на балах, то собирала вокруг себя в уборной молодых девушек и занимала их ею же выдуманными сказками. Напрасно ждали кавалеры в большой зале своих дам: те не могли оторваться от

сказок княжны Волконской". В "Войне и мире" княжна Марья, некрасивая и слезливая, очерчена, однако, такими нежными штрихами, что вся ее фигура является сотканной из тончайших нитей и производит впечатление чего-то неземного, высокого и истинно-христианского, несмотря на суеверие и пристрастие к странницам и легендам. Болезненная духовность натуры, мистически настроенное воображение, жажда самоотречения и самопожертвования, чудная приветливость и мягкость характера, порыв к небу и вечное стремление уходить со своими мечтами в мир, где нет болезни и печали, – всем этим граф Толстой наделил тот образ, в котором он хотел изобразить свою мать. И вообще всякая героиня, при создании которой граф Толстой жил нежными воспоминаниями о своей безвременно умершей матери, является у него человеком не от мира сего, натурой мечтательной и с экзальтированным воображением, про каких говорят: не "умирают они, а улетают на небо".

По смерти матери воспитанием детей – четырех мальчиков и одной девочки, совсем крохотной, – занялась дальняя родственница Толстых, Ергольская. В 1837 году вся семья переехала из Ясной Поляны в Москву, так как старший брат Льва Николаевича, Николай, должен был готовиться в университет; но летом того же года скоропостижно умер граф Николай Ильич, оставив после себя пять человек детей и очень расстроенное состояние. Для сокращения расходов часть семьи с Ергольской вернулась опять в Ясную Поляну. Детей, разумеется, учили, и учителями были и гувернеры-немцы, один из которых достиг бессмертия под именем Карла Ивановича в "Отрочестве", и русские семинаристы в тиковых сюртуках, с ударением на "о".

По свидетельству покойной тетки Льва Николаевича, П.И. Юшковой, "в детстве он был очень шаловлив, а отроком отличался *странностью,* а иногда *неожиданностью* поступков, живостью характера и прекрасным сердцем" (Берс).

П.И. Юшкова рассказывала Берсу, что "однажды в пути на почтовых лошадях, когда все уже уселись в экипажи, стали искать Льва Николаевича, который был тогда мальчиком. В это время голова его высунулась в окне станции со словами: "Ma tante, я сейчас выхожу!" Половина головы его была обстрижена. Фантазия обстричь голову во время короткой остановки, по-видимому, не объяснялась никакою надобностью.

Сам Лев Николаевич рассказывал при Берсе в семейном кругу, что в детстве, лет семи или восьми, он возымел страстное желание *полетать по воздуху.* Он вообразил, что это вполне возможно, если сесть на корточки и обнять руками свои колени; при этом, чем сильнее сжимать колени, тем выше можно

полететь. Мысль эта долго не давала ему покоя, и наконец он решился привести ее в исполнение. Он заперся в классной комнате, влез на окно и в точности исполнил все задуманное. Он упал из окна на землю с высоты около двух с половиной саженей, отшиб себе ноги и не мог встать, чем немало напугал домашних. Таковы немногие – (слишком даже!) – подлинные факты из детства великого писателя.

Это время уже послужило Толстому темой для его первого произведения “Детство”, напечатанного в “Современнике” в 1852 году. Разумеется, как во всем, что вышло из-под пера Толстого, так и здесь, правда и вымысел переплетаются; но можно заметить, что в художественной фантазии Толстого есть одна характерная черта: все свои усилия она сосредоточивает не на том, чтобы отделиться от действительности, а, напротив, чтобы осветить и одухотворить ее. В большинстве произведений Толстого героем является он сам, его собственное душевное настроение, несомненно им пережитое и перечувствованное. На эти произведения мы смело можем положиться как на автобиографические документы из области духовной жизни писателя.

Герой “Детства”, Николенька Иртеньев, в рассказе, который ведется от его лица, знакомит нас со всеми своими детскими впечатлениями и лицами, его окружавшими. Мать и отец, немец-гувернер Карл Иванович Мауэр, брат Володя и сестра Любочка, нянька Наталья Савишна, юродивый Гриша – все эти люди описаны с удивительной художественностью, и их разговоры, развлечения, поступки переносят нас в давно минувшую эпоху старого барства, его привольного, а подчас и разнузданного житья. Перед нами страдалица мать, мистическая и экзальтированная натура, семейная жизнь, где соблюдены все приличия, где внешний лоск закрыл зло и неправду, где все зиждется на принципах порядочного комильфотного существования, беспечного и не одухотворенного ничем высоким.

Сам Николенька, наследовавший от матери свою впечатлительность, свою наклонность к мечтанию, свою неуравновешенную натуру, полностью обрисован в первых же сценах.

Он просыпается с “расстроенными нервами” и чувствует себя до глубины души обиженным тем обстоятельством, что его добродушнейший гувернер Карл Иванович неловко убил хлопушкой муху над его кроваткой. За чувством обиды как-то сразу следует раскаяние, а затем слезы. На вопрос, почему он плачет, мальчик сказал, что “плачет оттого, что видел дурной сон: будто maman умерла, и ее несут хоронить”. Все это он

выдумал, но когда Карл Иванович, тронутый рассказом, стал утешать и успокаивать его, ему показалось, что он точно видел страшный сон, и “слезы полились уже от другой причины”. Но еще несколько минут, и мрачное настроение сменилось беспричинной веселостью и шаловливостью. За каких-нибудь полчаса и гнев, и обиженность, и раскаяние, и слезы, и веселье.

> “Мальчик в классной. Отсюда из окон направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иванович лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех, – так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю? Досада перейдет в грусть: Бог знает отчего и о чем так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иванович сердится за ошибки”.

Уже по этим и им подобным сценам мы видим перед собой даровитую, неуравновешенную натуру, с удивительно чуткими нервами, себялюбивую и увлекающуюся, не умеющую ни на йоту владеть собой и сосредоточиться на том, что нужно и приказано. Неожиданные резкие переходы от одного к другому, преобладание чувствительности, застенчивость, с одной стороны, желание всем нравиться и стать на первом плане, с другой, – подготовляют читателя к будущему, где ребенка ждет столько ошибок, увлечений, разочарований, столько мучительных минут раскаяния и сокрушения о грехах своих.

Мучительный разлад между мечтою и действительностью, то есть тот самый, который впоследствии так тяжело дал себя почувствовать Толстому, начался очень рано уже в детские годы: мальчику хочется сидеть на балконе, с большими, а вместо этого его заставляют в классной заниматься диалогами и диктантами; он хочет всем нравиться, быть находчивым, выдержанным – и вместе с тем чувствует свою полную неприспособленность к этому; его мучает даже некрасивое лицо, непокорные вихрастые волосы, широкий нос, маленькие серые глаза. Спасение от всех этих бедствий он ищет в мечте, которой предается до одурения, до полного умственного наркоза. Он еще не знает страдания, но слишком уже хорошо знаком с грустью и даже любит грустить, любит уходить в созерцание и смакование собственного своего подчас выдуманного страдания, и вы чувствуете, как будущий князь Нехлюдов – этот ненужный и неумелый, хотя и порывисто благородный барич, растет в обстановке, где родился и рос

Николенька Иртеньев.

В 1840 году умерла опекунша сирот Толстых, графиня Остен-Сакен, и опека перешла к их тетке П.И. Юшковой, жившей с мужем в Казани, куда и переехала вся семья Толстых. В Казань же перешел из Московского университета и старший брат Николай.

П.И. Юшкова, богатая знатная дама, принимала в своей гостиной все “лучшее общество”, и в ее доме уже не было и помину о простой яснополянской жизни; напротив, все – от обихода до взглядов – свидетельствовало о родовитости, богатстве, связях. Здесь, как мы скоро увидим, полностью расцвели и распустились комильфотные стремления Льва Николаевича. Все этому способствовало, и даже атмосфера юшковского дома, казалось, была проникнута заботою о том, чтобы все было на лучший лад. Сама Юшкова мечтала для своих титулованных племянников о карьере дипломатов или флигель-адъютантов. Ни в чем другом не видела она смысла и счастья, как в густых эполетах, больших доходах, полной независимости. Сохранилось и ее изречение: rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut, то есть ничто так не полезно для молодого человека, как связь с порядочной женщиной. Этой связи она, разумеется, желала и для Льва Николаевича.

С переездом в Казань закончилось и детство Толстого. Почти неуловимые и неопределимые штрихи отделяют эту первую пору жизни человеческой от второй – отрочества, и чтобы охарактеризовать эти штрихи, обратимся опять к духовной автобиографии нашего писателя.

“Случалось ли вам, читатель, – спрашивает он, – в известную пору жизни вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другою, неизвестной еще стороной. Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества.

Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего общего не имеющих с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это, но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал.

Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило по крайней мере такое же семейство, как наше; на женщин, детей, которые с минутным

любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали из глаз; на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, но не удостаивали нас даже взглядом, – мне в первый раз пришел в голову вопрос: что же их может занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас? Из этого вопроса возникли другие: как и чем они живут, как воспитывают своих детей, учат ли их, пускают ли играть, как наказывают?…

Между девочками и нами появилась какая-то невидимая преграда: у них и у нас были уже свои секреты, как будто они гордились перед нами своими юбками, которые становились длиннее, а мы своими панталонами в рейтузах".

Кончилось детство – эта счастливая невозвратимая пора. Ребенок, все время живший только собой и для себя, вдруг неожиданно рассмотрел перед глазами обширный Божий мир, с миллионами таких же людей, как и он сам, – людей, погруженных в собственные думы, радости, печали. Он не осознал, да и не мог еще осознать своего места в этом обширном Божьем мире: он не сознавал, да и не мог еще сознавать тех отношений, в которые он вступит и должен будет вступить с этими миллионами ему подобных, но он в минуту прозрения почувствовал себя частицей чего-то огромного, сложного, необъятного. Рамки детского эгоизма раздвинулись, и кончилось детство. А как жаль, что кончилось оно.

"После молитвы, – пишет Толстой, – завернешься бывало в одеяльце; на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие, – но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастье. Вспомнишь бывало о Карле Ивановиче и его горькой участи – единственном человеке, которого я знал несчастливым, – и так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: дай Бог ему счастья, дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать… Потом любимую фарфоровую игрушку – зайчика или собачку – уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы Бог дал счастья всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом"…

Кончилось детство.

"Вернутся ли когда-нибудь, – продолжал Толстой, – та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели– невинная веселость и

беспредельная потребность любви – были единственными побуждениями в жизни?…

Где те горячие молитвы, где лучший дар – те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению.

Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?”

Но и одни воспоминания, особенно такие чистые, светлые, святые, которые сохранил Толстой на всю жизнь, ужасно много значат. У многих ли остались они? Да и этих немногих с каждым днем становится все меньше и меньше!

В Казани у Льва Николаевича был учитель и гувернер St. Thomas, описанный им впоследствии под именем m-r Жерома. Этот-то St. Thomas и подготовил его к поступлению в университет.

В университет в то время молодые баричи поступали очень рано, кто 14-ти, 15-ти, кто 16-ти лет, – поступали не из гимназий, как теперь, а прямо из классной помещичьего дома, где большинство получало, разумеется, подготовку очень сомнительную. Впрочем, и в стенах высшего учебного заведения наука не находилась в особенной чести, и смело можно спросить себя: была ли она на самом деле? Разумеется, читались лекции и внешний вид научности соблюдался; но далее, глубже не забирались ни профессора, ни студенты. Громкие названия факультетов, вроде морально-политического, и предметов, как, например, эстетика, не должны смущать читателя: хороших профессоров, особенно в провинции, или совсем не было, или они должны были молчать, ограничиваясь чтением записок, тщательно рассмотренных, проредактированных, процензурованных и прочее. Известно изречение императора Николая Павловича: “И архиереям нельзя давать всякую книгу”; что же после этого могли слышать студенты? Буря, пронесшаяся над русскими университетами во времена Магницкого и Рунича, когда анатомию преподавали не по скелету, а по полотенцу, а в карцере для провинившихся слушателей морально-политических и иных наук висела картина Страшного суда, была еще в памяти у всех; готовилась и новая буря, которой немного лет спустя предстояло разразиться над лучшим из университетов той эпохи – Московским. Наука, повторяю, в чести не была, да, в сущности, никто и не чувствовал в ней ни малейшей надобности: государство поддерживало и содержало ее совсем не потому, что ему нужны были ученые юристы и знатоки римских древностей, а просто чтобы не ударить в грязь лицом перед Европой и не

разрушать дела, начало которому было положено великой Екатериной. Интеллигенция только что возникала в то время, а общества не было совершенно. Контингент студентов пополнялся главным образом из дворян и помещичьих детей. Странно даже спрашивать себя, зачем нужна была наука владельцу стольких-то и стольких-то душ?… Правда, университетский диплом давал известные привилегии по службе и право на штаб-офицерский чин, но кто же не знает, что привилегии университетского диплома ничто и даже меньше того сравнительно с привилегиями рождения, богатства, связей. Поэтому-то атмосфера ненужности, одинаково понятной и для профессоров, и для студентов, наполняла собою университетские аудитории и кабинеты; не слышалось живого слова, не видно было горячего увлечения, и чем-то затхлым и скучным отзываются и наука, и лекции того времени. Даже даровитые юноши, обладавшие жаждой познания и рвавшиеся к источнику истины, быстро охладевали, переступив университетский порог. Уже вступительный экзамен, на котором так много значили протекция, знакомства, взятка, нарушал невинность мечты, и несколько выслушанных лекций вызывали сначала недоумение, потом недовольство и наконец отвращение. Оставался, следовательно, синий воротник студенческого сюртука, шпага гражданского ведомства и возможность считать себя взрослым. Большинство, разумеется, вполне этим удовлетворялось тогда, как удовлетворяется оно и в настоящее время.

“Бурна была, – говорит профессор Загоскин, – жизнь казанского студенчества 40-х и 50-х годов. Хранящиеся в архиве местного университета дела по инспекции и канцелярии попечителя представляют собою целые тома производства по поводу зазорного поведения студентов и дают длинную хронику скандалов и безобразий более или менее публичного характера, бороться с которыми были бессильны все строгости университетской инспекции того времени. О гомерических кутежах и попойках мы уже не говорим; они носили положительно хронический характер; весь избыток жизни уходил на кутежи. Бывали, конечно, примеры и студентов-аристократов, которые не чужды были безобразий довольно-таки колоссального характера, какие учинял, например, симбирский уроженец, князь Ч-ев, развлекавшийся тем, что, вооружившись духовым ружьем, с чердака обстреливал и дер жал в постоянном осадном положении всю Поперечно-Красную улицу, – не говоря уже о целом ряде других безобразий, которыми ознаменовал этот князек свое пребывание в университете. Но говоря вообще, студенты-аристократы чуждались бурного разгула казанских буршей

старого времени и образовывали свою особую группу, впадая при этом в другую крайность – увлечение светскою жизнью, наслаждениями более тонкого и комильфотного разврата… Балы, вечера, пикники, спектакли, живые картины (в которых, кстати сказать, с большим успехом принимал участие и Л.Н. Толстой), рысаки, женщины составляли альфу и омегу этих самодовольных барчат, которые поступали в университет, сами не зная для чего. Юридический факультет особенно изобиловал юношами этой последней категории".

Лучшим из факультетов в Казани был, по-видимому, математический, где подвизался в то время Лобачевский, но Л.Н. Толстой несколько неожиданно поступил на факультет восточных языков. Случилось это в 1843 году, когда будущему писателю исполнилось всего 15 лет. С этого времени граф Толстой считает начало своей юности: где же *отрочество?*

Представив себе обстановку барского юшковского дома и плоский идеал комильфотного существования, при котором связь с порядочной женщиной считается лучшим средством, чтобы "оформить" молодого человека, читатель легко поймет, как с внешней стороны жилось графу Толстому за эти три года (1840–1843). Важных, определяющих событий никаких; француз-гувернер, сменивший немца-дядьку, обучает манерам и языкам; есть еще каждый день уроки русского языка, истории, математики, которые даются неблагообразными семинаристами, с ударением на "о"; есть балы, праздные прогулки и катанья.

"Весело, очень весело жили в Казани в ту дореформенную пору, – продолжает профессор Загоскин, – конечно, в высших сферах общества, дававших главный колорит местной общественности. Широкий размах казанской великосветской жизни 40-х и 50-х годов носил характер последней агонии крепостного строя старой России и давал себя особенно сильно чувствовать по зимам. Казань служила центром, к которому тяготело все среднее Поволжье и Прикамье, являясь по отношению к ним маленькой столицей. Сюда съезжались на зиму богатые помещичьи семьи, с тем, чтобы повеселиться здесь после летней деревенской жизни, сделать заказы, обшиться и приодеться, отдать в ученье подрастающих ребят, а при случае подыскать приличную партию и дочкам своим… Гостеприимство было широкое, барское, которого теперь нет уже и в помине. Холостому человеку, например, можно было вовсе не иметь у себя стола, то есть существовало по крайней мере 20–30 домов, куда ежедневно сходились обедать много лиц без всякого приглашения. День распределялся так: вскоре после окончания обеда, выпив кофе и поболтав о всякой всячине, все отправлялись

по домам спать, что составляло общее обыкновение. Вечером снова ехали куда-нибудь на раут или бал, всегда заканчивавшийся лукулловским ужином; такие торжества затягивались далеко за полночь, и нередко гостям приходилось возвращаться домой в 5–6 часов утра. На следующий день вставали часов в 12, чтобы начать проделывать то же самое… Да, весело жили наши деды, но в то же время и пусто до тошноты…"

По внешности казанский период самый бедный, по внутреннему своему содержанию – один из самых богатых. Нечего и говорить, что излишняя восприимчивость и склонность к анализу не только не исчезли, но теперь-то и распускаются полностью. Неожиданные эмоции, почти произвольная смена настроений портят мальчику жизнь; наркоз мечты является по-прежнему главным источником болезненного наслаждения: этим ядом граф Толстой (или Николенька Иртеньев) продолжает отравлять себя при всяком удобном и неудобном случае. Беспричинные слезы и беспричинное раздражение говорят о расстроенных, слишком чувствительных нервах, полученных в наследство от утомленных предков. Застенчивость заставляет запрятывать глубоко-глубоко в душу и свою доброту, и жажду любви, отчасти, как прежде, чистой и светлой, отчасти и новой, в которой есть уже влечение к женщине.

Николенька Иртеньев целые часы проводит на площадке "без всякой мысли, с напряженным вниманием прислушиваясь к малейшим движениям, происходящим наверху", или, "притаившись за дверью, с тяжелым чувством зависти и ревности слушает возню в девичьей" и обсуждает вопрос: "каково было бы его положение, ежели бы он пришел наверх и так же, как брат, захотел бы поцеловать горничную Машу". Но решиться на это он не смеет и попадает подчас в довольно глупое положение, слыша, как Маша говорит брату: "Вот наказание! что же вы, в самом деле, пристали ко мне… идите отсюда, шалун эдакий… Отчего Николай Петрович никогда не заходит сюда и не дурачится"… А бедный Николай Петрович сидит в эту минуту под лестницей и все на свете готов отдать, чтобы только быть на месте шалуна брата".

Широкий нос, некрасивое лицо мучают по-прежнему и даже сильнее прежнего.

"Я был стыдлив от природы, – рассказывает Толстой, – но стыдливость моя еще увеличилась убеждением в моей уродливости. А я убежден, что ничто не имеет такого разительного влияния на направление человека, как наружность его, и не столько самая наружность, сколько убеждение в привлекательности или непривлекательности ее… Я был

слишком самолюбив, чтобы привыкнуть к своему положению, утешался, как лисица, уверяя себя, что виноград еще зелен, то есть старался презирать все удовольствия, доставляемые приятной наружностью, которым я от души завидовал, и напрягал все силы своего ума и воображения, чтобы находить наслаждение в гордом одиночестве”…

Перед нами опять мотивы детства, но обострившиеся, более мучительные, оттого что более себялюбивые… Громадный запас чувствительности, как жидкость из переполненной посуды, при малейшем толчке выливается через край. Настроение деспотически владеет мальчиком, заставляя его проделывать самые дикие и несообразные вещи. учится он не то чтобы плохо, а беспорядочно, не зная середины, то увлекаясь, то чувствуя полнейшее отвращение. Он очевидно болен, и болен прежде всего богатством своей неуравновешенной, слишком нервной натуры.

На него находит порою странность:

“Вспоминая свое отрочество, – пишет он, – и особенно то состояние духа, в котором я находился в один несчастный для меня день, я весьма ясно понимаю возможность самого ужасного преступления, без цели, без желания вредить, но так… из любопытства, из бессознательной потребности деятельности… Бывают минуты, когда будущее представляется человеку в столь мрачном свете, что он боится останавливать на нем свои умственные взоры, прекращает в себе совершенно деятельность ума и старается убедить себя, что будущего не будет и прошедшего не было. В *такие минуты,* когда мысль не обсуживает вперед каждого определения воли, а единственными пружинами жизни остаются плотские инстинкты, я понимаю, что ребенок, по неопытности особенно склонный к такому состоянию, без малейшего колебания и страха, с улыбкой любопытства раскладывает и раздувает огонь под собственным домом, в котором спят его братья, отец, мать, которых он нежно любит”…

В такие минуты мальчик начинает бить, что попадет под руку, дерется со своим гувернером и совершает один дикий поступок за другим, в состоянии полной невменяемости. Он и сам не знает, что, как и зачем, и чувствует лишь обиду и страдание.

– Оставьте меня, – кричит он сквозь слезы, – никто вы не любите меня, не понимаете, как я несчастлив! Все вы гадки, отвратительны…

Матери, которая поняла бы ребенка в эти минуты и одна могла бы успокоить его своим ласковым любящим словом, – нет, и бедное обиженное маленькое сердце ищет утешения, или, лучше, забвения, в фантастических мечтах:

> “То мне приходит в голову, что должна существовать какая-нибудь неизвестная причина общей ко мне нелюбви и даже ненависти. (В то время я был твердо убежден, что все, начиная от бабушки и до Филиппа кучера, ненавидят меня и находят наслаждение в моих страданиях.) “Я, должно быть, не сын моей матери и моего отца, а несчастный сирота, подкидыш, взятый из милости”, – говорю я сам себе, и нелепая мысль эта не только доставляет мне какое-то *грустное утешение,* но даже кажется совершенно правдоподобною. Мне *отрадно* думать, что я несчастен не потому, что виноват, но потому, что такова моя судьба с самого моего рождения и что участь моя похожа на участь несчастного”…

Мечты возникают с болезненной настойчивостью. Мальчик воображает себя то подкидышем, то гусарским генералом, то в гробу – и живет своим воображением, совершенно забывая, где он и кто он.

“После сорока дней, – думает он например, – душа моя улетает на небо; я вижу там что-то удивительно прекрасное, белое, прозрачное, длинное и чувствую, что это моя мать. Это что-то белое окружает, ласкает меня, но я чувствую беспокойство и как будто не узнаю ее. “Ежели это точно ты, – говорю я, – то покажись мне лучше, чтобы я мог обнять тебя”. И мне отвечает ее голос: “Здесь мы все такие, я не могу лучше обнять тебя. Разве тебе не хорошо так?” – “Нет, мне очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня, и я не могу целовать твоих рук…” – “Не надо этого, здесь и так прекрасно”, – говорит она, и я чувствую, что точно прекрасно, и мы вместе с ней летим все выше и выше”…

Мальчик упивается мечтами до одурения и пресыщается ими. Он даже принуждает себя мечтать, чтобы только забыться и вернуть блаженные минуты опьянения. Как настоящий алкоголик, он пьет мечту, когда она уже противна ему.

Здоровые мысли и чувства не могут вырасти на этой почве. Мы можем ожидать самого худшего, и действительно мальчик скоро начинает ненавидеть своего гувернера. “Да, – рассказывает он, – это было настоящее чувство ненависти, не той ненависти, про какую пишут только в романах и в какую я не верю, ненависти, которая будто бы находит наслаждение в делании зла человеку, но той ненависти, которая внушает вам непреодолимое отвращение к человеку, заслуживающему, однако, ваше уважение, делает для вас противными его волосы, шею, походку, звук голоса, все его члены, все его движения и вместе с тем какою-то непонятною силою притягивает вас к нему и с беспокойным

вниманием заставляет следить за малейшими его поступками".

Но откуда все это? Откуда такая ожесточенная ненависть, откуда столько страдания? Казалось бы, мальчику живется хорошо. Его никто не обижает и никто его не унижает, никаких лишений он не терпит; напротив, он окружен и лаской, и вниманием. Вокруг него семья, которую он любит и которая его любит. Почему же нет счастья и нет удовлетворенности, почему душа беспокойно мечется в обстановке, которая – по всей истине и справедливости – может удовлетворить любого смертного? Но капризное, неуравновешенное чувство, слишком прихотливое и требовательное, ищет чего-то большего, совершенного и вместо радости то и дело погружается в тоску и мрачное уныние. Причина такой странности заключается, кажется, в том, что гениальные натуры вообще плохо приспособляются к каким бы то ни было условиям нашего земного существования, или, как красноречиво выражается Брандес, носят "печать Каина на челе". Они слишком нежны. Незаметный для обыкновенного смертного толчок вызывает в них боль и страдание; та же чуткость делает их непомерно требовательными и обидчивыми. Мало того, в годы детства и юности они редко бывают самими собой; минутное настроение так деспотически владеет ими, что они постоянно кого-то и что-то изображают: то страдальца, то меланхолика, то человека, презирающего все и вся. Вообразив себя тем или другим, они поступают по воображению, – обстоятельство, которое и позволяет нам понять общую характеристику, данную Толстым своему отрочеству.

"По моему мнению, – говорит он, – *несообразность* между положением человека и его моральной деятельностью есть *вернейший признак истины"*.

Как это так несообразность может служить вернейшим признаком истины? Это что-то вроде тертуллиановского "верю, потому что это бессмыслица". Однако Толстой прав, но прав не вообще, а лишь в том случае, когда имеется в виду болезненно-чуткая и напряженно-впечатлительная натура, то есть такая, которую Достоевский метко назвал "фантастической".

Никакого противоречия в такой психологической несообразности нет. Представьте себе на самом деле, что вы идете ночью по незнакомому лесу, идете в одиночку и чего-то ежеминутно ожидаете. Страх и ожидание делают вашу впечатлительность значительно повышенной. Вы видите так, как никогда прежде не видели в темноте, слышите так, как не слышали никогда раньше; вы как будто различаете даже шум от упавшего на землю древесного листа или шуршанье ползущего насекомого. Но эта-то чуткость, эта-то тонкость слуха и

проницательность зрения и обманывают вас. Вы сознаете себя окруженным всякими ужасами, которых нет, потому что мозг ваш ежеминутно получает преувеличенные представления о внешнем мире. Чтобы красивая рука не стала безобразной в ваших глазах, не надо рассматривать ее в лупу; чтобы жизнь не оттолкнула вас от себя, не измучила бы вас, не надо слишком близко в нее всматриваться. Так говорит благоразумие, то есть последнее, чего слушаются выдающиеся натуры.

Та же болезненная чуткость вызывает и обусловливает нравственное одиночество, в котором пребывают таланты и гении. На почве этого одиночества вырастают странные мысли, странные вопросы.

“В продолжение года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе моральную жизнь, – рассказывает Толстой, – все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представлялись мне, и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигнуть ум человека, но разрешение которых не дано ему.

Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним; что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив; и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря не страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя так больно по голой спине, что слезы невольно выступали на глазах.

Другой раз, вспомнив вдруг, что *смерть ожидает меня каждый час,* каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем, – и я дня три, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые я покупал на последние деньги”.

Мальчик умствует в своем произвольном одиночестве, мальчик чувствует себя несчастным и начинает задумываться о смерти. Сколько отвлеченного в направлении его мысли и как мало связи между работой его мозга и впечатлениями от окружающей действительности! Но мы уже видели, что в детстве Толстому очень хотелось полетать и казалось, что это так просто: “стоит только обнять коленки покрепче руками”; и в отрочестве у него та же жажда летания, то же стремление непокорного духа отрешиться от земли и ее обыденных, будничных интересов. Мы

уже предчувствуем, что он должен увлечься сомнением, и должен увлечься им прежде всего потому, что жизнь не удовлетворяет его. Страдание же истинное или выдуманное – безразлично – ведет человека к отрицанию. И само полученное им воспитание не закрепило в его голове ни одного твердого правила: он и молился-то лишь по привычке, исполняя какой-то обряд, а когда сверстник сказал ему, что не надо молиться, что смешно молиться, – он бросил это так легко, как будто сдул пушинку со своей одежды.

“Я воображал, – продолжает он свой рассказ, – что кроме меня никого и ничего не существует во всем мире, что предметы – не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Были минуты, что я под влиянием этой постоянной идеи доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту (néant) там, где меня не было.

Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабевшей во мне силы воли и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожив свежесть жизни и ясность рассудка”.

Разумеется, все эти мысли и мыслишки кажутся мальчику в высшей степени оригинальными и питают его гордость. С сознанием собственного достоинства и превосходства смотрит он на остальных смертных, но – “странно, – рассказывает он, – приходя в столкновение с этими смертными, я робел перед каждым, и чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое слово и движение”.

Такими-то настроениями начались университетские годы, а вместе с ними и юность.

Как мы видели раньше, Толстой несколько неожиданно поступил на факультет восточных языков, что, по-видимому, можно объяснить лишь его юношеской страстью оригинальничать и идти иной дорогой, чем идут другие, не справляясь даже о том, насколько она хороша. учился он очень неудачно, главным образом потому, что перескакивал от предмета к предмету, не зная, на чем ему остановиться. В сорок четвертом году мы видим его уже юристом, но и здесь дело не пошло. Он заинтересовался лишь на несколько месяцев лекциями профессора Мейера по государственному праву и взялся даже за самостоятельное сравнение “Духа законов” Монтескье с “Наказом” императрицы Екатерины, увлекся этой работой, а потом вскоре остыл и к ней.

Профессор Загоскин, подробно исследовав документы, относящиеся к университетскому периоду жизни Толстого, нарисовал следующую ее картину, которую мы и резюмируем:

“Граф Лев Николаевич не последовал математическим наклонностям своих братьев; он избирает факультет восточных языков, к поступлению на который усиленно и готовился в течение 42–44 годов, а дело это было не совсем легкое, так как для вступительного экзамена нужно было иметь подготовку в арабском и турецко-татарском языках. Приближалась весна 44 года – время вступительных университетских испытаний. В это доброе старое время для юношей из богатых аристократических семей практиковалось облегченное средство для вступления под сень университетских аудиторий: среди профессоров всегда находились покровители родовитых и состоятельных аспирантов на студенчество, которые или поселялись у своих будущих экзаменаторов в качестве учеников-пансионеров, или же брали у них по их специальностям приватные уроки (разумеется, за приличное вознаграждение). Толстому, на беду, пришлось, однако, держать экзамен в такое время, когда только что от попечителя округа, графа Мусина-Пушкина, было получено строжайшее предложение: “малосведущих не принимать”. Несмотря на приватные уроки, он сбился и получил достаточное количество единиц и двоек. Но ему разрешили дополнительные экзамены, и он был принят “по разряду арабско-турецкой словесности”. Что нашел он тут? Очень мало для ума, еще меньше для сердца. Но вероятно, что главная причина его хронических университетских неудач лежала не в курсе преподавания, не в профессорах, а во влиянии той среды, среди которой он вращался. “Это, – говорит Загоскин, – была среда, всецело проникнутая сословными предрассудками, пропитанная условными понятиями комильфотности и не находившая ничего лучшего, как воскуривать фимиам их высокопревосходительствам губернатору и губернаторше и разделять свое досужее время между картами, танцами и сплетнями, присоединяя к этим развлечениям поистине беспримерное чревоугодие. Дом тетки молодых графов Толстых, П.И. Юшковой, муж которой, кстати сказать, рекомендовал себя откровенно стихами: “граф Толстой – человек пустой, выдал дочь Полину за Юшкова-скотину”, – являлся одним из видных аристократических домов Казани. Очень естественно, что этот дом совмещал в себе все условия пустой, бессодержательной провинциальной великосветской жизни. Как тетушка Полина Ильинична, так и окружавшие ее систематически портили юношу, ломали его хорошую от рождения натуру и развращали и его ум, и его душу, и его сердце.

В братьях своих, кроме старшего, Николая, никакой нравственной поддержки он встретить не мог. Сергей Николаевич был ярким типом бонвивана, студента-франта, дамского поклонника и ловеласа, который никогда не прочь кутнуть и охотно берет от жизни все, что она способна дать ему; впоследствии он женился на цыганке из хора. Дмитрий, напротив, был ханжа и мистик, избегавший всяких удовольствий и развлечений света, ходил по всем церковным службам, постился, вел абсолютно чистую жизнь; даже попечитель округа Мусин-Пушкин вынужден был уговаривать его танцевать на вечерах тем аргументом, что царь Давид плясал перед ковчегом.

Судя по некоторым горьким строкам из “Исповеди”, Л.Н. Толстому чувствовалось нехорошо в этой обстановке. “Всякий раз, – говорит он например, – когда я пытался высказать то, что составляло самые задушевные мои желания, – то, что я хочу нравственно быть хорошим, – я встречал презрение и насмешки, а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли”. “Добрая тетушка моя, – с иронией продолжает он, – чистейшее существо, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужнею женщиной. Еще другого счастья она желала мне, того, чтобы я был адъютантом, и лучше всего – у государя, а самого большого счастья, того, чтобы я женился на богатой девушке и чтобы у меня было как можно больше рабов”.

Примкнувши к кружку студентов-аристократов, проводя все время на балах, вечерах и пикниках, граф Толстой, разумеется, занимался очень слабо и, не выдержав переходных экзаменов на 2-й курс, перебрался попытать счастья на юридический факультет, но встретил здесь, по выражению профессора Загоскина, “нечто невообразимое”. “Факультет олицетворялся в небольшой кучке профессоров, с преобладающим немецким элементом, которые служили предметом посмешища для студентов всех факультетов и всех курсов… Вот, например, полуюродивый профессор римского права Камбек, немец, почти не знающий русского языка, который из года в год начинал свой курс крикливым диктованьем: “Рымское право! Р – большое, П – тоже большое и пунктум… Запшите это сэбэ на боке (то есть на полях)”. Диктованьем на ломаном русском языке передавал этот профессор и весь свой дальнейший курс, в котором встречались, например, такого рода перлы: “Рымлянэ ымэли своево орхиеррея, краго (профессор читал сокращенно *крaго,* а не которого: так для него были переписаны лекции) называли вэрховный жэрэбэц (то есть жрец)”. Другой профессор той же эпохи, криминалист Густав Фогель, следующим образом иллюстрировал, например,

несостоятельность суда присяжных: “Когда-то и где-то одна молодая дэвушка билла обвиняемая в ужаснэйшем преступлении, самым сквернэйшим образом учиненного… И ссуд присяжных оправдал ее!”

Недурен был и профессор международного права Гелъмут Винтер, совершенно не знавший почти русского языка и потому читавший свои лекции по какой-то ветхой тетрадке по-французски. Он скакал в пафосе по аудитории, показывая наглядно картину вступления в 1813 году союзных государей в Париж, или картинно размахивал запачканным в табаке носовым платком, демонстрируя слушателям морские сигналы, а не то так изображал ртом, немилосердно надувая щеки, салютационную канонаду…

Лучше других были профессор Майер, Станиславский и другие, но и у них граф Толстой мало чему научился, вернее, мало чему хотел научиться”.

Разумеется, и в данном случае говорить о неспособности к труду Толстого, у которого впоследствии хватило невероятного терпения семь раз подряд переделать “Войну и мир”, а еще позже, уже под старость, изучить всех комментаторов к Евангелию, – смешно. Профессорские двойки, единицы и нули говорят нам лишь о том, что никогда настоящего интереса к университетской науке Толстой не питал и что самолюбие его в это время было направлено совсем на другое, нежели на академические лавры, получение которых и теперь-то не представляет никаких особенных трудностей для обеспеченного человека, а сорок лет тому назад было и еще того легче.

Граф Толстой в период 1843–1847 годов стремился прежде всего к тому, чтобы быть вполне приличным, корректным и даже светским молодым человеком. Он не только сам признается в этом в “Юности”, но о том же самом говорят и те, кто сидел с ним на одной скамейке. Он принадлежал к кружку “аристократов” и совершенно игнорировал “серую” братию. Поза и движения его были всегда вызывающие, выражение лица и глаз презрительное, до разговора со своими товарищами он не снисходил и держался даже обыкновения не здороваться ни с кем, приходя на лекции, и не прощаться ни с кем, уходя домой. У него была своя лошадь и свой кучер, шинель с прекрасными бобрами и презрительный вид, скрывавший за собой огромное неудовлетворенное самолюбие и болезненную застенчивость.

Симпатичного во всем этом мало, но я думаю, что в то время Толстой просто вообразил себя светским молодым человеком (чем он никогда ни позже, ни раньше не был) и поступал по воображению. Обстановка юшковского дома, многочисленные

образцы для подражания из казанской “золотой” молодежи, наставления тетки и собственное неумение быть простым и искренним с другими заставили его не только увлечься идеалом “comme il faut”,[1] но и утрировать этот идеал. Аристократическая сдержанность и презрительность в обхождении едва ли могли нравиться ему по самому существу своему и, вероятно, доставляли ему гораздо больше неприятностей, чем удовольствия, но ведь фантастические натуры об этом не справляются: в известные эпохи им непременно надо играть какую-нибудь роль, убедить себя, что эта роль истинная, настоящая, и доводить свою игру до крайности, иногда до комизма.

“Мое любимое и главное подразделение людей в юности – пишет Толстой, – было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas. Второй род подразделялся еще на людей comme il faut и простой народ. Людей comme il faut я уважал и считал достойными иметь с собой равные отношения; вторых – притворялся, что презираю, но в сущности ненавидел их, питая к ним какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали, – я их презирал совершенно. *Мое* comme il faut состояло – первое и главное – в отличном французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно говорящий по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. “Для чего же ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь?” – с ядовитою усмешкой спрашивал я его мысленно. Второе условие comme il faut были ногти длинные, отчищенные и чистые; третье – было умение кланяться, танцевать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки. Кроме того, у меня были общие признаки, по которым я, не говоря с человеком, решал, к какому разряду он принадлежит. Главным из этих признаков, кроме убранства комнат, перчаток, почерка, экипажа, – были *ноги.* Отношение сапог к панталонам тотчас же решало в моих глазах положение человека. Сапоги без каблука, с угловатым носком и концы панталон узкие, без штрипов, это был *простой;* сапог с узким, круглым носком и каблуком и панталоны узкие внизу, облегающие ногу, или широкие со штрипками, как балдахин стоящие над носком, – это был человек mauvais genre[2]”.

Даровитые люди в период своей неуравновешенности способны выделывать такие глупости, которые не под силу даже совсем глупому человеку. Это общеизвестно; но за глупостями больших даровитых людей скрывается всегда если и не что-нибудь умное, то во всяком случае глубокое. То же и в этом

случае. Любопытно, что Лермонтов ощущал то же самое: и Лермонтов. стыдился быть простым и искренним, и Лермонтов не хотел разговаривать с Белинским, а целыми часами весело болтал со Столыпиным и товарищами-уланами, и Лермонтов в университете держал себя вызывающе-гордо и презрительно. Дело тут прежде всего в огромности самолюбия, беспокойного и мучительного. Подчиняясь ему и внушениям юшковского дома, Толстой, повторяю, имел больше страданий, чем радости.

“Странно то, – продолжает он, – что ко мне, который имел положительную неспособность к comme il faut, до такой степени привилось это понятие. А может быть именно оно так сильно вросло в меня оттого, что мне стоило огромного труда приобрести это comme il faut. Страшно вспомнить, сколько бесценного, лучшего в жизни шестнадцатилетнего времени я потратил на приобретение этого качества. Всем, кому я подражал, все это, казалось, доставалось легко. Я с завистью смотрел на них и втихомолку работал над французским языком, над наукой кланяться, не глядя на того, кому кланяешься, над разговором, танцеваньем, над вырабатываньем в себе самом ко всему равнодушия и скуки, над ногтями, на которых я резал себе мясо ножницами, – и все-таки чувствовал, что мне еще много оставалось труда для достижения цели”…

Дрожжи старого барства удаляли Толстого (как и Лермонтова) от всего разночинного, чей напор, упрямый и не всегда особенно вежливый, он не мог не чувствовать даже в университетских стенах. Ведь он видел около себя товарищей, хотя и не наблюдавших гармонии между сапогами и панталонами, но гораздо лучше учившихся, чем он, и гораздо более чем он образованных. Но искренне признать их превосходство и отнестись к ним по-человечески не позволяли старые барские дрожжи. И Толстой все глубже и глубже уходил в свою comme il faut'ность.

“В известную пору молодости, – говорит он, – после многих ошибок и увлечений каждый человек обыкновенно становится в необходимость деятельного участия в общественной жизни, избирает какую-нибудь отрасль труда и посвящает себя ей; но с человеком comme il faut это редко случается. Я знал и знаю очень, очень много людей, – старых, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если такой задастся им на том свете: “кто ты такой и что ты там делал?” – не будут в состоянии ответить иначе, как “je fus un homme très comme il faut”…[3]

Эта участь ожидала и меня”.

Мы уже видели внешнюю жизнь и времяпрепровождение молодого барича, имевшего собственную свою упряжку и

собственные свои значительные карманные деньги. Толстой впоследствии с отвращением вспоминал о кутежах и пьянстве своей юности. Но, разумеется, этим не исчерпывалась его духовная жизнь, как не исчерпывалась она и заботами о панталонах и ногтях. ум продолжал деятельно работать и, как этого можно было ожидать, в прежнем скептическом направлении. Кое-что из этой работы мы знаем. Однажды за какую-то незначительную провинность Толстой вместе со своим товарищем Назарьевым попал в карцер на целые сутки. К месту заключения он явился, разумеется, в собственных дрожках, с товарищем не поздоровался и, не зная, чем занять себя, стал смотреть в окно, приказав предварительно кучеру разъезжать взад и вперед перед зданием без всякого толку и смысла. Но потом заключенные разговорились и принялись даже спорить. Назарьев рассказывает, что “вся неотразимая для меня сила сомнений его обрушилась на университет и университетскую науку вообще; “храм науки” не сходил с его языка. Оставаясь неизменно серьезным, он в таком смешном виде рисовал наших профессоров, что, при всем желании оставаться равнодушным, я хохотал как помешанный. “А между тем, – заключил Толстой, – мы с вами вправе ожидать, что выйдем из этого храма полезными, знающими людьми. А что вынесем мы из университета? Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси, в деревню? На что будем мы пригодны? Кому нужны?”

Вопросы, которые ставит Толстой, очень умны и толковы и очевидно говорят нам о том, что под скорлупой comme il faut'ности идет неустанная работа вдумчивого духа. Особенно презрительно третировал в то время Толстой историю. “История, – говорил он, – не что иное, как собрание басен и сказок и ненужных, а подчас и безнравственных мелочей. Какой смысл в хронологии? Кому и зачем нужно знать, что первый брак Иоанна Грозного произошел в 1550 году, а четвертый – в 1572? Кому какое дело до того, что Игорь был убит древлянами, а Олег прибил свой щит на вратах Царьграда?… А обратите внимание на изложение наших историков; тут перл на перле. Прекрасный, добросердечный, полный самых благих намерений царь Иоанн IV вдруг ни с того ни с сего становится грозным, палачом, кровопийцей… Почему? Как? Откуда это?… Самодовольный историк таких вопросов не задает себе и интересуется совершенно посторонним”…

Университет, собственно, не дал Толстому ничего, да и не мог ничего дать его непокорной, не признававшей никаких рамок и укладов натуре. Он требовал всегда гораздо большего, чем ему

предоставляли, отсюда недовольство, небрежность и презрение. Но жизнь дала гораздо больше. Описание “Юности” Толстой начинает словами:

> “Я сказал, что дружба моя с товарищем открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цель и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию и что усовершенствование это легко, возможно и вечно. Но до сих пор я наслаждался только открытием новых мыслей, вытекающих из этого убеждения, и составлением блестящих планов нравственной деятельной будущности; но жизнь моя шла все тем же мелочным, запутанным и праздным порядком. Те добродетельные мысли, которые мы в беседах перебирали, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли с такою свежею силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, в ту же секунду захотел прилагать эти мысли к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им. И с этого времени я считаю начало юности”.

Разумеется, никаких реальных целей и никаких реальных путей к совершенствованию Толстой в то время не знал. Это было совершенствование *вообще,* куда вошел впоследствии и идеал “comme il faut”. По приобретенной в детстве привычке совершенство ограничилось главным образом областью мечтаний. Например:

> …“С нынешнего дня я уже больше не буду смотреть на женщин. Никогда, никогда не буду ходить в девичью, даже буду стараться не проходить мимо; а через три года выйду из-под опеки и женюсь непременно… Буду делать нарочно движения как можно больше, гимнастику каждый день, так что когда мне будет двадцать пять лет, я буду сильнее Раппо. Первый день буду держать полпуда “вытянутою рукой” пять минут, на другой день двадцать один фунт, на третий день двадцать два фунта и так далее, так что, наконец, по четыре пуда в каждой руке, и так, что буду сильнее всех в дворне; и когда вдруг кто-нибудь вздумает оскорбить меня или станет отзываться непочтительно о *ней, я* возьму его так, просто, за грудь, подниму аршина на два от земли одною

> рукою и только подержу, чтоб почувствовал мою силу, и оставлю; но, впрочем, и это нехорошо… нет, ничего, ведь я ему зла не сделаю, а только докажу, что я…”

Вспоминая свое прошлое, юноша чувствовал подчас отвращение к самому себе и раскаяние, но раскаяние, до такой степени слитое с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального. Ему казалось, что так

> “легко и естественно оторваться от всего прошедшего, переделать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со всеми ее отношениями совершенно снова, чтобы прошедшее не тяготило, не связывало меня. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего и разливались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир Божий”.

Рядом со скептической появилась, как видит читатель, и еще новая, хотя и робко звучащая струна совершенствования. То кровь кипит, то сил избыток, – так как никакой ясной цели в этом совершенствовании, повторяю, не было. Хотелось быть лучше других, умнее других, сильнее других; инстинктивно хотелось коснуться той мощи, которая была вложена в глубину натуры, но не проявлялась еще наружу и дремала и грезила, предаваясь ребяческим мечтам. Хотелось власти, почестей, славы, к чему рвалось честолюбивое *я*, как все живое рвется к огню и свету. Хотелось женской любви и ласки, от которой юное неиспорченное существо оживает, как цветок от утренней росы. Хотелось и нравственных подвигов, хотелось самоотвержения, хотя честолюбивые инстинкты заставляли искать всегда первого места.

ГЛАВА II. РУССО И НЕХЛЮДОВЩИНА

В 1847 году, не сдав даже экзаменов на третий курс, Л.Н. Толстой, побуждаемый между прочим тем обстоятельством, что старшие братья, окончив курс, уехали из Казани, вышел из университета, так мало ему приглянувшегося, и отправился в Ясную Поляну, где прожил почти безвыездно до 1851 года. “Утро помещика” дает нам лучшую характеристику его тогдашней жизни, как “Детство”, “Отрочество” и “Юность” верно отражают в себе его жизнь до этого времени. “Я выхожу из университета, – пишет граф Толстой, – *чтоб посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее. Главное зло заключается в самом бедственном, жалком положении мужиков,* и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. *Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастье этих семисот человек, за которых я должен буду отвечать Богу?* Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения и честолюбия? И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается блестящая и ближайшая обязанность. Я пошел по совершенно особенной дороге, но которая хороша и, я чувствую, приведет меня к счастью”.

В подчеркнутых мною словах и выражениях читатель не может не заметить чего-то совершенно нового и даже внезапного. Ведь раньше о том, чтобы посвятить себя жизни в деревне, о жалком положении мужиков, о священной обязанности заботиться о счастье семисот человек не было и помину. Наоборот даже… Но на подобные внезапные и резкие перемены в настроении нам придется еще много раз натолкнуться в биографии Толстого.

Мы видели, что граф Л.Н. Толстой родился, вырос и провел свою юность в крепостнической обстановке. Девяти-десятилетним мальчиком он владел уже сотнями душ и почти половину жизни своей прожил на счет яснополянских мужиков, которые поили и кормили его и позволяли беспрепятственно переходить из одной фазы развития в другую, питать веру, страдать сомнениями, стремиться к совершенствованию и увлекаться идеалом светского молодого человека. Крестьянским трудом вспоен и вскормлен великий художественный талант земли русской, слава и гордость нашей литературы и нашего народа.

Говорю все это я без малейшей тени упрека кому и чему бы

то ни было, так как кто же может быть повинен в первородном грехе русской общественной жизни. Я просто указываю на факт, пропустить который не имею ни права, ни возможности, и притом факт огромной важности. Ведь владение семистами душ и позволило развиться беспрепятственно художественному дарованию графа Толстого, позволило ему без всякой торопливости переписать семь раз “Войну и мир” – эту грандиозную эпопею русской народной жизни, нашу “Илиаду”, все еще неоцененную и непонятую именно потому, что она слишком громадна. Право, если уж о том зашла речь, мне кажется порою, что еще 20–30 лет такой же мелкой разбросанной литературной работы, которая совершается теперь на наших глазах, – и мы будем смотреть на “Войну и мир” с таким же чувством почтительного удивления, с каким греки исторической эпохи смотрели на грандиозные постройки пеласгов и Львиные ворота, остатки стен, приписывая их титанам и сторуким гигантам. Благодаря даровому крепостному труду, русская литература за каких-нибудь полстолетия стала классической, и ничего подобного ее быстрым успехам в период между созданием “Руслана и Людмилы” и “Анной Карениной” мы не видим даже на Западе.

Я не поклонник бедности и лишений, не верю, чтобы они оказывали благоприятное воздействие на развитие творчества, и думаю, что даже громадный талант из суровой школы нищеты и лишений выносит одно зло. Когда для создания выдающегося произведения прописывается рецепт, в котором фигурируют чердак, нетопленая комната, сон вместо обеда, голодная жена и голодные ребята, – я всегда вспоминаю слова Гете: “Истинно великое произведение может быть создано только здоровым духом”.

Но это между прочим. Перед нами стоит другой вопрос: об отношении графа Толстого к народу в годы его юности. В период увлечения comme il faut'ностью он, как мы видели, прямо презирал народ и мужика. Но к этому скверному чувству уже и тогда примешивался другой оттенок, неясный, робкий, но все же заметный, как заметен слабый зеленый росток побега на черной земле…

“Когда, – читаем мы в “Юности”, – на прогулках в деревне я встречал крестьян и крестьянок на работах, несмотря на то, что *простой народ не существовал для меня,* я испытывал всегда бессознательное сильное смущение и старался, чтобы они меня не видели”.

Что простой народ “не существовал для меня”, это с точки зрения дрожжей старого барства понятно, но не менее понятно и

это бессознательное сильное смущение честной и правдивой натуры, честность и правдивость которой были завалены кучей мусора.

Отсюда, от этого “бессознательного сильного смущения”, до любви к мужику сначала, до преклонения перед его нравственными и жизненными идеалами впоследствии еще очень и очень далеко. Но нам, несмотря даже на неполноту относящихся сюда документов, необходимо подробно рассмотреть этот процесс сближения Толстого с мужиком и народом. Почему надо подробно рассмотреть– это всякий знает сам.

Первою ступенью было признание мужика человеком, в отношении которого у всякого есть свои нравственные обязанности. Это немного, но что делать с жизнью, где за усвоением такого элементарного правила приходится обращаться к западной просветительной литературе и философам, которые в самой приятной и изящной форме сообщали, что мужик – человек?

Полагаю, что просветительная литература оказала немалое влияние на развитие графа Толстого. Мы видели, что в университете он занимается сравнением “Наказа” и “Духа законов”; к этому же времени относится его увлечение Руссо. “Вспоминая особенности Льва Николаевича, – говорит Берс, – необходимо упомянуть об отношении его к произведениям и взглядам Ж.-Ж. Руссо. Нет сомнения, что они имели огромное влияние на его произведения. Он увлекался и зачитывался ими еще в ранней молодости” (“Воспоминания”, с. 26).

Руссо и Толстой – родственные гении. Исходная точка их рассуждений одна и та же; но я думаю, что если бы они встретились теперь с глазу на глаз, они не поняли бы друг друга. Как и о Бернардене де Сен-Пьере, авторе знаменитого когда-то проекта “вечного мира”, Руссо сказал бы о Толстом: “Он – мечтатель”…

Руссо любит природу, хотя и в этой его любви, как вообще во всяком его чувстве, есть что-то аффектированное, больное. Он любит природу не за нее самое, а скорее за то, что ненавидит не-природу, нашу цивилизацию, “эту громадную надстройку человеческого разума и глупости, зла и преступлений, лжи и неправды над прекрасным Божьим миром”. Руссо любит мужика, крестьянина, и опять-таки главным образом потому, что ненавидит не-крестьянина, аристократа, торгаша, чиновника.

Руссо прежде всего – обиженное сердце. В нем, в этом чутком, болезненном и гениальном человеке, за время его долгой страдальческой жизни накопилось столько зла, раздражения,

ненависти, зависти, что он разучился любить, разучился быть искренним и правдивым. Его застенчивость обратилась в подозрительность и манию преследования, доброта – в аффектированную чувствительность. Его гений велик и правдив лишь в ненависти.

Он был лакеем, нищим, тружеником и никогда не знал счастья. Его молодость прошла в нищете и лишениях, старость – в изгнании. С первой своей сознательной минуты он научился бояться окружающих людей и окружающей его жизни. Он ненавидел цивилизацию и боялся ее, но понимал, что человек бессилен отказаться от прошлого и истории; он понимал, что цивилизация для нас неизбежное зло. Нигде и ни разу не сказал он, что надо или можно вернуться к дикой или первобытной жизни. Его судьба была слишком сурова, чтобы он мог верить во всемогущество человека.

> “Руссо был несомненно человеком будущего, а не прошедшего, и именно в этом направлении повлиял на европейскую мысль, поспособствовал образованию целой школы. Оставим в покое фантастичность очертаний, в которых рисовалась воображению Руссо историческая колыбель человечества. Не в этом дело. Злое слово Вольтера: “читая Руссо, так и хочется побежать на четвереньках” – это злое слово справедливо только в очень поверхностном смысле, если иметь в виду лишь живописную страстность отдельных выражений. В сущности, Руссо не отрекался ни от каких духовных и материальных благ, добытых цивилизацией, но он желал иного их распределения и направления, именно такого, в каком располагалось скудное достояние первобытного человека. Иначе говоря, Руссо отвергает не степень развития цивилизации, а ее тип и, наоборот, в первобытной жизни он ценит лишь ее тип (общее равенство), нимало не сомневаясь, что невежество, суеверие, нищета, грубость как спутники низшей ступени развития подлежат изгнанию. Задача будущего состоит, по Руссо, совсем не в том, чтобы все люди или какая-нибудь их часть бегали на четвереньках, а в сочетании первобытного типа (то есть всеобщего равенства) с высокой степенью развития”
>
> *(Н.К. Михайловский).*

Таков Руссо, но не таков, как после увидим, граф Толстой. А между тем у них много общего, и в этом общем на первый план

надо поставить вражду и ненависть к лицемерным формам нашей культурной жизни, где столько делается для формы, для приличия, для общественного мнения, что самому человеку и его внутренней правде не остается совершенно места. Руссо хотел, чтобы формы жизни были приспособлены к этой внутренней человеческой правде и позволяли бы ей свободно проявляться наружу. Толстой хочет отказаться от этих форм и полагает, что это возможно. Один, видя перед собой храм лжи, говорит: "Разберите его, тщательно сберегая всякий камень, гвоздь, балку, и из этого материала вам удастся, *быть может,* воздвигнуть храм правды". Другой требует, чтобы был воздвигнут новый храм.

Как измученный несчастный человек Руссо по необходимости – скептик. Он не верит в подъем духа, он знает, что влияние прошлых пятидесяти веков сильнее влияния будущих пятидесяти лет, что этих прошлых пятидесяти веков не вычеркнешь из организма человека, из его привычек и верований. Со всем этим надо считаться, все это можно только приспособлять, переделывать, но создавать нечто новое, прямо противоположное, – это мечта, это безумный сон…

Конечно, противоречие между Руссо и Толстым развилось только впоследствии. В юности он только увлекался страстными тирадами во славу природы и простоты жизни, во славу честного труда. И это увлечение не прошло бесследно; напротив, брошенное великим женевцем зерно упало на родную почву, хотя до плодов было еще далеко. Увлекаясь Руссо, Толстой не мог уже более презирать народ, и под влиянием Руссо бессознательное и смутное смущение обратилось в желание исполнить свой нравственный долг перед крепостными семьюстами душами. Легко, однако, видеть, что в этих первых попытках сближения много теоретического, навеянного и мало сердца. Перечтите "Утро помещика", заменив везде, с позволения самого автора, князя Нехлюдова графом Толстым.

Сюжет прост и вразумителен:

Доживши до девятнадцати лет и дойдя до третьего курса университета, граф Л. Толстой убеждается в том, что он достаточно образован и что ему давно пора приниматься за практическую деятельность. Он приезжает на лето в свое имение, видит там, что мужики его разорены дотла, и, решившись посвятить свою жизнь на улучшение их участи, выходит из университета с тем, чтобы навсегда поселиться в деревне. Толстой занимается свои делом бескорыстно, добросовестно и очень усердно. По воскресеньям, например, он обходит утром дворы тех крестьян, которые обращались к нему с просьбами о каком-нибудь вспомоществовании; тут он внимательно вникает в

их нужды, присматривается к их быту, помогает им хлебом, лесом, деньгами и старается посредством увещаний внушать им любовь к труду или искоренять их пороки.

Один из таких обходов составляет сюжет нашей повести. Приходит Л. Толстой к Ивану Чурисенку, просившему себе каких-то кольев или сошек для того, чтобы подпереть свой развалившийся двор. Видит Толстой, что строение действительно никуда не годится, и Чурисенок рассказывает ему совершенно равнодушно, что у него в избе накатина с потолка его бабу пришибла. “По спине как колыхнет ее, так она до ночи замертво пролежала”. Толстой, думая облагодетельствовать Чурисенка, предлагает ему переселиться на новый хутор, в новую каменную избу, только что выстроенную по герардовской системе. “Я, – говорит, – ее, пожалуй, тебе отдам в долг за свою цену; ты когда-нибудь отдашь”. Но Чурисенок говорит: “Воля вашего сиятельства”, и в то же время прибавляет, что на новом месте им жить не приходится; а баба, та самая, что замертво лежала, бросается в ноги молодому помещику, начинает выть и умолять барина оставить их на старом месте, в старой развалившейся и опасной избе. Чурисенок, тихий и неговорливый, как большая часть наших крестьян, придавленных бедностью и непосильным трудом, становится даже красноречивым, когда начинает описывать прелесть старого места. “Здесь на миру место, место веселое, обычное; и дорога, и пруд тебе, белье, что ли, бабе стирать, скотину ли поить, – и все наше заведение мужицкое, тут искони заведенное, и гумно, и огородишка, и ветлы – вот, что мои родители садили; и дед, и батюшка наши здесь Богу душу отдали, и мне только бы век тут свой кончить, ваше сиятельство, больше ничего не прошу”. Что тут будешь делать? Нельзя же благодетельствовать насильно. Толстой отказывается от своего намерения и советует Чурисенку обратиться к крестьянскому миру с просьбой о лесе, необходимом для починки двора. К миру, а не к помещику приходится обращаться в этом случае потому, что Толстой отдал в полное распоряжение самих мужиков тот участок леса, который он определил на починку крестьянского строения. Но у Чурисенка на всякое дело есть свои собственные взгляды, и он говорит очень спокойно, что у мира просить не станет. Толстой дает ему денег на покупку коровы и идет дальше. Входит он во двор к Епифану, или Юхванке-Мудреному. Толстому известно, что этот мужик любит по-своему сибаритствовать, курить трубку, обременяет свою старуху мать тяжелой работой и часто продает для кутежа необходимые принадлежности своего хозяйства. Теперь Толстой узнал, что Юхванка хочет продать лошадь; помещик хочет посмотреть, возможна ли эта продажа без

расстройства необходимых работ. Оказывается, что продавать не следует, и Толстой решительно запрещает Юхванке эту коммерческую операцию. Юхванка в разговоре с барином лжет ему в глаза самым наглейшим образом и нисколько не смущается, когда Толстой на каждом шагу выводит его на свежую воду. Толстой как юноша и моралист старается растрогать юхванкину душу увещаниями и упреками, а Юхванка, продувная бестия, каждым своим словом показывает своему барину совершенно ясно, что он непременно расхохотался бы над его советами, если бы его не удерживало тонкое понимание галантерейного обращения. “Пороть меня ты не будешь, – думает Юхванка, – потому что совсем никого не порешь; на поселение тоже не сошлешь, пожалеешь; а в солдаты я не гожусь, спереди двух зубов нету. Значит, ничем ты меня не озадачишь, и на все твои разговоры я вежливым манером плевать намерен”. И Толстой, совершенно отменивший в своем хозяйстве телесные наказания, до такой степени живо чувствует свое бессилие перед сорванцом Юхванкой, что принужден по временам умолкать и стискивать зубы для того, чтобы не расплакаться тут же на юхванкином дворе перед глазами нераскаянного грешника. Кончается визит тем, что барин, строго запретив продавать лошадь, тайком от беспутного Юхванки дает денег его матери на покупку хлеба.

Дальше идет рассказ и еще о нескольких мытарствах по крестьянским избам; в результате то же самое, то есть ничего, или, вернее, один вопрос: почему же эта просветительная и гуманная попытка графа Толстого окончилась так неудачно? Писарев решает вопрос просто: “Юный помещик, – говорит он, – самым добросовестным образом старается слить вино новое в меха старые, – задача неисполнимая: меха ползут врозь, и вино проливается на пол, или, говоря без метафор, новая гуманность пропадает без пользы и даже приносит вред (мужички распустились), когда приходит в соприкосновение со старыми формами крепостного быта”.

Эта *общая* причина настолько понятна, что нечего о ней и распространяться. Филантропия в отношении к крепостному бесправному мужику, настоенная на барских дрожжах и идеях просветительной литературы, никогда никакого проку не приносила, да и не могла принести. Но есть еще и частная причина. Толстому едва исполнилось двадцать лет, и, говоря его собственными словами, он “слишком сильно сознавал в себе присутствие всемогущего бога молодости, эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать – броситься головой вниз в бездонную пропасть, не

сознавая за что, не зная зачем. Я носил в себе это сознание, был горд им и, не зная этого, был счастлив им". В личной жизни Толстого только что начинался тот период, который Гете так метко назвал "Die Wanderjahre" – годы странствий, и на самом деле скоро мы увидим его на Кавказе, под Севастополем, в Москве, Петербурге, Самаре, за границей. Не могла же барская филантропия, к тому же очевидно бесплодная, наполнить его существа и бытия. Не исчезло еще и желание закончить университетский курс, почему в 1847 году Толстой едет в Петербург, начинает держать экзамен, но, сдавши два или три, возвращается в свою любимую Ясную Поляну, где его ожидает охота, чистый воздух, семья и много других развлечений.

ГЛАВА III. НА КАВКАЗЕ

Три года, проведенные в Ясной Поляне на лоне природы, пролетели незаметно и без особенных треволнений. Но в 1851 году граф Толстой сильно проигрался и увидел, что при прежней своей жизни он никак не сумеет уплатить долга. Это-то и было одной из причин, побудивших его отправиться на Кавказ – не на службу, а просто для перемены места, впечатлений и ради экономии. Он это и сделал, давши себе предварительно раз двадцать слово “больше этих проклятых карт никогда не брать в руки”.

На Кавказе в то время служил офицером старший его брат, Николай Николаевич, с которым он был особенно близок и дружен.

В тарантасе, в сопровождении прислуги, братья поехали из Казани на левый, то есть восточный фланг нашей позиции, вдоль Волги. Езда на лошадях скоро наскучила. Они приобрели громадную лодку, поставили на нее тарантас, сели и предоставили себя течению реки, занимаясь чтением и любуясь природой. Путешествие длилось около трех недель, пока они не приехали в Астрахань. На нижнем течении Волги, приставая к берегам, они то и дело встречались с полудикими калмыками, вечно сидящими у костра. В то время калмыки были еще огнепоклонниками.

Воспоминания об этой поездке сохранились, впрочем, самые смутные. Не то о Кавказе. Л. Толстой всегда любил вспоминать о своем пребывании там, на юге. Богатая природа, чудная охота, которой он предавался со страстью почти всю свою жизнь, вплоть до нравственного переворота, война с горцами – все это нравилось ему и все это его вдохновляло. Там впервые проснулось его творчество, там мысль об опрощении впервые явилась ему в голову.

Кавказская жизнь Л.Н. Толстого очень богата всевозможными эпизодами. Один из этих эпизодов послужил темою повести “Кавказский пленник”, почему мы его и приведем в изложении Берса.

> “Мирный чеченец Содо, с которым Лев Николаевич был дружен, купил молодую лошадь и пригласил друга проехаться с ним из крепости, где был расположен тогда отряд русского войска. С ними поехали верхом еще два офицера артиллерии. Несмотря на запрещение начальством таких поездок ввиду их опасности, они

ничем не вооружились, кроме шашек. Испытав свою лошадь, Содо предоставил ее другу, а сам пересел на его иноходца, который, как известно, скакать не умеет. Они были уже верстах в пяти от крепости. Неожиданно перед ними показалась группа чеченцев человек в двадцать. Чеченцы начали вынимать ружья их чехлов и разделились на две партии. Одна партия преследовала двух офицеров, поскакавших обратно в крепость, и настигла их. Один из них был изрублен, а другой попался в плен. Содо, а за ним и Лев Николаевич пустились по другому направлению, к казачьему пикету, расположенному в одной версте. Гнавшиеся чеченцы уже приближались к ним. Им предстояла перспектива лишиться жизни или очутиться в плену и, следовательно, сидеть в яме, потому что горцы вообще отличаются жестокостью в обращении с пленными. Лев Николаевич, имея возможность ускакать на резвой лошади своего друга, не покинул его. Содо, подобно всем горцам, никогда не расставался с ружьем, но, как на беду, оно не было заряжено. Тем не менее он нацелил им на преследователей и, угрожая, покрикивал на них. Судя по действиям преследовавших, они намеревались взять в плен обоих, особенно Содо, для мести, а потому не стреляли. Обстоятельство это спасло их. Они успели приблизиться к пикету, где зоркий часовой издали заметил погоню и сделал тревогу. Выехавшие навстречу казаки принудили чеченцев прекратить преследование.

…Содо, – продолжает Берс, – искренно любил своего друга. Однажды он воспользовался случаем удружить своему кунаку. Как-то Лев Николаевич проигрался в карты и вошел в долг. Уплатить в срок не было возможности, а известия из деревни не оправдали ожидаемой получки денег. Это мучило его. Положение среди молодежи богатого юнкера графа Толстого, не заплатившего карточный долг в срок, им назначенный, для самолюбия его было ужасно. Он приходил в отчаяние и прибегнул к молитве. Посланный от Содо прервал молитву и подал письмо. В письме было разорванное обязательство. Оказалось, что накануне Содо удачно играл в карты и воспользовался выигрышем для подарка другу мучившего его долга”.

На службу, как я сказал выше, граф Толстой сначала и не думал даже поступать. Все его время наполнялось чтением и,

главное, охотой под руководством старого казака Епишки, известного русским читателям под именем Брошки, одного из характернейших лиц в “Казаках”… Встретившись, однако, с одним из своих родственников, занимавшим важное место в штабе, граф Толстой по его совету определился юнкером в артиллерию и не раз принимал участие в мелких стычках, описанных им впоследствии в “Набеге”, “Рубке леса”, “Казаках”. До службы же он жил очень скромно, на пять рублей в месяц и скоро выплатил мучивший его карточный долг.

Каким путем Толстой открыл в себе литературный талант, неизвестно. Очень может быть, что виноват в этом был его старший брат, неравнодушный к литературе, а очень может быть и то, что творческие стремления искали себе выхода и выражения. В Ясной Поляне эти стремления тратились на музыку, которой Толстой предавался со страстью; но заниматься музыкой в лагере или крепости было невозможно. Первым (в 1852 году) было написано “Детство”, за которым немедленно последовали “утро помещика”, “Случай”, “Отрочество”, составлен был план “Казаков”, задумана “Юность”.

“Детство”, законченное 9 июля 1852 года, было отправлено в “Современник” Некрасову, который поторопился напечатать эту повесть, учуяв по ней нарождение нового сильного таланта.

Обратимся теперь к тому, что составляет сущность биографии Л.Н. Толстого, – его духовной жизни. Что думал он и как чувствовал себя на Кавказе?

Разумеется, у 23-летнего даровитого писателя не могло быть одного господствующего настроения. Настроения менялись в зависимости от обстановки и окружающих лиц. Были мечты о славе литературной, о военной славе, было даже желание опроститься.

Живя в казацкой станице (на левом берегу Терека, недалеко от Кизляра), в обществе казака Епишки, этого хитрого, себе на уме, но цельного, без противоречий внутри, человека, видя себя окруженным такими же, как Епишка, цельными, живущими без аффектаций, без надломленности, а просто так, как трава растет, людьми; охотясь за фазанами и кабанами, бродя по лесам и болотам, припоминая отвратительные вечера, проведенные за картами или в обществе продажных цыганок, что должно было казаться особенно отвратительным на свежем воздухе и под тенью громадных каменных титанов хребта, – Толстой проникался прелестью этой простой, не знающей душевной надломленности жизни. С каким восторгом вспоминает он впоследствии о пережитом им настроении в казацкой станице и говорит:

> “Мне пишут письма соболезнования, боятся, что я погибну, зарывшись в этой глуши; говорят про меня: он загрубеет, от всего отстанет и, чего доброго, женится на казачке. Как страшно! В самом деле, не погубить бы мне себя, тогда как на мою долю могло выпасть великое счастие стать мужем графини Б., камергером или дворянским предводителем. Как вы мне все гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастие и что такое жизнь! *Надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте.* Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу перед собой вечные неприступные снега гор и величавую женщину в ее первобытной красоте. Поймите одно или верьте одному: надо видеть и понять, что такое правда и красота, и в прах разлетится все, что вы говорите и думаете, все ваши желания счастия и за меня, и за себя. *Счастие – это быть с природою, видеть ее, говорить с нею”,*

“Надо испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте, чтобы понять счастье”. А что такое счастье? *Не больше,* как “быть с природой, видеть ее, говорить с нею”. Не больше? А куда же деть мечты о славе и власти, о восторге и преклонении ближних? Ведь они вечно тут, и кипят, и бурлят в молодой жадной интеллигентной душе… Стать Епишкой, не думать о завтра, жить, как трава растет, умирать, как падает с дерева увядший лист, не оставив по себе ни следа, ни воспоминания, или быть подстреленным чеченцем, не пропев даже своей лебединой песни, – увы! – все это не дано интеллигенту…

Ведь рядом с мечтами об опрощении у того же Толстого идут другие мечты… о получении Георгиевского креста и украшении груди своей этим знаком отличия. А ведь для “простоты” ни креста, ни отличий не надо.

“Во время службы на Кавказе, – по рассказу Берса, – Лев Николаевич *страстно* желал получить Георгиевский крест и был даже к нему представлен, но не получил его, вследствие личного нерасположения к нему одного из начальников. Эта неудача *огорчила* его, но вместе с тем изменила его взгляд на храбрость. Он перестал считать храбрыми тех, кто лез в сражение и домогался знаков отличия. Его идеалом храбрости сделалось разумное отношение к опасности”.

Толстой страстно желает получить Георгиевский крест, как несколько лет спустя опять-таки страстно желает получить флигель-адъютантство, как еще немного позже клянется убить себя, если за него не выдадут замуж Софью Андреевну Берс, и

смысл всех этих страстных желаний только тот, что не вычеркнешь из сердца своего тех инстинктов, потребностей и привычек, которые завещаны веками. Не вычеркнешь их особенно в молодости – в этот период напора эгоистических страстей… Да и зачем их вычеркивать?… Страсть эта – тот ветер, о котором моряки говорят: "попутный или противный – плыть можно, *лишь бы был ветер"*. Страсть – сама жизнь, и так как, раз появившись, она уничтожает вопрос о "смысле жизни", то она, пожалуй, и есть искомый таинственный смысл нашего бытия…

Находясь постоянно в обществе казаков и солдат, Толстой полюбил простой народ, полюбил уже сердцем, а не рассудком только, как это было под влиянием просветительной философии. Особенное сердечное впечатление произвели на него солдаты – эти излюбленные герои величайшего произведения Толстого "Война и мир", эти *они,* научившие впоследствии Пьера Безухова правде жизни… Читая кавказские рассказы, вы уже предчувствуете Платона Каратаева и его наивный, детский, но исполненный глубочайшего смысла фатализм…

Мне кажется, что полюбить простой народ на Кавказе было гораздо легче (с точки зрения традиций старого барства), чем в Ясной Поляне. Там между барином и мужиком стояла непроходимая стена – крепостные отношения. Мужик являлся грязным, забитым, вонючим вьючным животным; здесь он то и дело оказывался *героем.* Когда человек невольно считает себя выше другого, может ли он полюбить его? – Нет. Казаки не позволяли Толстому считать себя выше их; он сам видел, что солдаты выше его. Установилось равенство. А любовь возможна только при нем.

В кавказских впечатлениях Толстого есть и еще один мотив, всю важность которого я хотел бы особенно вразумительно представить читателю. Ясности ради позволю себе привести маленький отрывок из поэмы Лермонтова "Валерик":

Уже затихло все; тела
Собрали в кучу. Кровь текла
Струею дымной по каменьям;
Ее тяжелым испареньем
Был полон воздух. Генерал
Сидел в тени на барабане
И донесенья принимал.
Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом…
А там, вдали – грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,

В своем наряде снеговом
Тянулись горы – и Казбек
Сверкал главой остроконечной…
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: “Жалкий человек!
Чего он хочет?… Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он… *Зачем?*…

Чем был Кавказ во время Толстого? Отчасти, разумеется, тем же, чем он является и в настоящее время, – местом, удивительным по своей красоте и разнообразию своей природы, где переезд в несколько часов переносит вас из царства “орлов и метелей” в нежные и зеленые долины Грузии или нижнего Терека, – страною, где лавры, мирты, кипарисы цветут на свежем воздухе, где почти ни на одну минуту не упускаете вы из виду снеговой шапки Казбека или Эльбруса. Для северянина или жителя Средней России Кавказ всегда имел и будет иметь особенную прелесть чего-то грандиозного, неожиданного, поражающего. Горячее пламенное солнце, бурные стремительные реки, раздвигающие скалы с каким-то злым ропотом, молчаливые заросшие лесом утесы, на вершинах которых гнездятся орлы да люди, голубое прозрачное небо, громадные дубовые леса, заросшие азалиями, в пахучих ветвях которых гнездятся бесчисленные неутомимые соловьи, какой-то странный синий оттенок гор – все это будит фантазию, навевает думы и образы… Теперь, правда, большая дорога пролегает там и здесь, в долине Куры, то и дело слышится свист локомотива, громыхание поездов, наполненных нефтью, острый запах угля… Исполнилось предсказание Лермонтова:

И железная лопата в каменную грудь,
Добывая медь и злато, врежет страшный путь…

Но во время Толстого, с лишком сорок лет тому назад, дикая поэзия природы была заметнее, больше на виду… не резче ли и чувствовалось тогда противоречие между гордым миром природы и беспокойным ропотом человека?… Ведь, как и все в мире, Кавказ пошлеет. Тот самый чеченец, который некогда горел страстным желанием зарезать вас или подстрелить, мечтает лишь о получении двугривенного на чай, порою за довольно грязное поручение. В ущельях, где прежде безраздельно царили метели и

орлы, там и здесь понастроены рестораны, кабаки и хуже того. То же в тени мирт, лавров и акаций. Казбек, разумеется, по-прежнему “сияет своими вечными снегами”, как грань алмаза, но на грузинской дороге, вместе с его белой шапкой, заостренной, как сахарная голова, виду вашему открывается гостеприимная гостиница, откуда постоянно доносится пьяный гул. Тут же вас ожидают назойливые грязные ребятишки, которые бегают за вами как собачонки и пищат просьбы о пятаке или пятиалтынном. Сам грузин не льет уже вина на узорные шальвары, потому что вино распродано еще до сбора, а предпочитает во многих местах пиво и водку. Поэтичных черкешенок вы не увидите или же встретите их на базаре торгующими гнилыми грецкими орехами, а еще чаще в тех местах, где бы не следовало быть ни поэтичным, ни непоэтичным женщинам. Сама природа хранит там и здесь резкий отпечаток жадности, нищеты человеческой. Леса повырублены; сам Терек бьется без прежнего задора: он точно одряхлел, нет уж более ничего кровожадного и страшного в его когда-то кровожадной и страшной пасти– Дарьяльском ущелье.

Но сорок с лишком лет тому назад поэтические красоты и прелесть Кавказа выдавались резче, рельефнее и определеннее… И как странно было видеть среди этой грандиозной могучей природы маленьких людей, мучающих себя, убивающих себя, интригующих, завидующих и даже любящих и ненавидящих. Странной казалась смерть живого существа от крошечной пульки под суровыми взглядами холодного Казбека, под вековыми чинарами, шептавшими о чем-то вечном, таинственном…

Как же не задать себе вопроса “зачем?…”. Перечтите кавказские рассказы Толстого, и вы увидите этот вопрос на каждой странице. Это вопрос высокой и вместе с тем наивной (с нашей точки зрения) души художника…

ГЛАВА IV. ПОД СЕВАСТОПОЛЕМ

Война скрывает в себе много резких противоречий: жестокость и гуманность, нашу бессознательную симпатию к ближнему и нашу вражду к нему, раз он с другими, чем мы, погонами, нашу жалость к страдающему и нашу радость при виде раненого или умирающего врага. Но эти резкие противоречия, затемненные молодостью, надеждами на крест и военные лавры, не открылись Толстому на Кавказе во всей их полноте, в чем была, между прочим, повинна и сама обстановка. Войны на Кавказе, строго говоря, никакой не было, а происходил бесконечный ряд турниров, что было давно, уже задолго до Толстого, замечено проницательным взглядом Ермолова, который, явившись на Кавказ, первым делом заявил: “Довольно за крестами гоняться, пора начать дело делать”. Совершенно другими представляются нам оборона Севастополя и севастопольская кампания вообще. Здесь Россия грудь грудью боролась с половиной Западной Европы, гораздо более культурной, лучше ее вооруженной, богатой и многочисленной, и война была страшная, грандиозная, хотя и сосредоточившаяся на ничтожном пространстве земли. Здесь же, под Севастополем, окрепла мысль Толстого и впервые является перед нами в полной зрелости.

Севастопольская кампания подготовлялась долгие годы. Россию не любили в Англии, терпеть не могли во Франции, боялись в Австрии и завидовали ей в Пруссии. И понятно, почему так оно было. Император Николай распоряжался в Европе почти так же, как у себя дома. Он читал нравоучения и делал предписания европейским монархам, как своим подданным. Укротив венгров, он стал как бы опекуном Австрии и по-отечески относился к ее тогда еще молодому монарху. Он был недоволен Пруссией за реформы 48-го года и ясно выказывал свое недовольство. Он отказался признать Наполеона III императором и отказывал ему в титуле mon frère[4]… Но его боялись, и долгое время страх сдерживал все попытки противодействия этому невиданному авторитету, напоминавшему авторитет Людовика XIV и Наполеона I.

Война началась в 1853 году, и на первых порах пришлось бороться с одной Турцией, которую до поры до времени Европа поддерживала лишь тайно; 2 июля русские войска перешли Прут и заняли Молдавию. 4 ноября была официально объявлена война, а 30 числа того же месяца адмирал Нахимов уничтожил турецкий флот при Синопе. Это взбудоражило и испугало европейцев:

тотчас же после Синопской битвы французы и англичане объявили России войну, а через год началась знаменитая осада Севастополя, искупившая все предыдущие грехи этой кампании.

Граф Толстой с началом Восточной войны попросился в Дунайскую армию и был прикомандирован к главному штабу главнокомандующего графа Горчакова. Взявши отпуск, он съездил сначала к себе в Ясную Поляну, повидался там с братьями и Ергольской и немедленно же отправился на театр военных действий, решившись, по-видимому, во что бы то ни стало приобрести военные лавры, ускользнувшие от него на Кавказе.

Заметим, между прочим, что как солдат и офицер Л.Н. Толстой отличался всегда безукоризненною храбростью. Сначала, разумеется, к этой его храбрости примешивалось тщеславное желание выказать себя с самой блестящей стороны, но впоследствии осталось лишь спокойное мужество, которое он ценил как лучшее и высшее качество военного человека. В своих произведениях он не раз ставит вопрос, что можно считать храбростью и кто действительно храбр, и всегда отвечает в том смысле, что храбр тот, кто при любых обстоятельствах исполняет свой долг солдата или офицера безразлично. Не бояться смерти – не значит быть храбрым, потому что нет на свете человека, который бы не боялся смерти; зато есть много таких, которые говорят, что они не боятся, и хвастают этим. Истинно храбрые люди – солдаты – на вопрос: “а ты разве боишься?” всегда отвечают у Толстого: “а то как же?” Рваться без толку вперед, нарочно выбирать самые опасные места, когда этого совсем не нужно, гарцевать под неприятельскими пулями – совсем не значит быть храбрым, а только или тщеславным, или отчаянным, то есть человеком лишь очень и очень относительно полезным, а в большинстве случаев прямо вредным. Солдаты не считают постыдным или унизительным наклонить голову при летящей бомбе или лечь на землю, когда разрывается граната; но те же солдаты, не задумываясь, идут в адский огонь, *когда это нужно.* Вот она, истинная храбрость, без забот о знаках отличия, о мнении других, без ложного стыда и признаков тщеславия. Такие типы, как капитан Хлопов в “Набеге”, Тушин и Тимохин в “Войне и мире”,– подлинные храбрецы, но ничего эффектного они не совершают. Вот маленькая сценка из “Набега”, иллюстрирующая взгляды Толстого.

“Что же, он храбрый был? – спросил я капитана. – А Бог его знает: все, бывало, впереди ездит; где перестрелка, там и он. – Так, стало быть, храбрый, – сказал я. – Нет, это не значит – храбрый, что суется туда, куда его не спрашивают. – Что же вы

называете храбрым? – Храбрый? Храбрый? – повторял капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос. – Храбрый тот, который ведет себя как следует, – сказал он, немного подумав".

Я вспомнил, что Платон определяет храбрость *знанием того, чего нужно и чего не нужно бояться,* и, несмотря на общность и неясность выражения в определении капитана, я подумал, что основная мысль обоих не так различна, как могло бы показаться, и что даже определение капитана вернее определения греческого философа, потому что, если б он мог выражаться так же, как Платон, он, верно, сказал бы, что храбр тот, кто боится только того, *чего следует бояться,* а не того, *чего не нужно бояться.* Мне хотелось объяснить свою мысль капитану. – Ну, уж этого не умею вам доказать, – сказал он, накладывая трубку, – а вот у нас есть юнкер, так тот любит пофилософствовать. Вы с ним поговорите. Он и стихи пишет".

Я для того выписал целиком всю эту маленькую сценку, чтобы читатель увидел и еще один элемент храброй души, как она является перед нами в произведениях Л. Толстого. Этот элемент – простодушие, граничащее иногда с наивностью ребенка. На самом деле, припомните Тушина, по-детски застыдившегося, когда его увидели без сапог, или Тимохина, постоянно краснеющего, раз к нему обращаются с речью; того же Хлопова, "что-то уж очень долго набивавшего в углу трубку", то есть попросту плакавшего после получения весточки от своей старухи матери. Ведь это все дети, большие, хорошие дети, в чистом сердце которых грязь жизни не оставила ни одного пятна… Эти храбрецы – дети народа, сохранившие все духовные связи с породившей их почвой.

Эту-то храбрость видел перед собой постоянно граф Толстой, эту-то храбрость он уважал и ценил и ее-то старался выработать в себе. Расширьте теперь область ее применения, выведите ее из лагеря или с поля сражения, и вы получите то редкое и драгоценное качество, которое может быть названо мужеством жизни. И оно, как и храбрость, принадлежит прежде всего народному (но не интеллигентному) духу и составляет красоту его.

Надо быть большим человеком и обладать проницательным взглядом художника, чтобы рассмотреть эту красоту и уметь любоваться ею. Толстой сумел сделать это, и почва для любви к народу и сердечной к нему привязанности была готова. Нехлюдовщина, теоретическое признание ответственности перед мужиком, красивые фразы просветительной философии отчасти на Кавказе, но главным образом под стенами Севастополя,

сменились другим, более прочным и высоким чувством – любовью и преклонением перед красотой народной души. Пока эта красота выражалась прежде всего в *храбрости.* Впоследствии, как увидим, Толстой рассмотрел и большее – *мужество жизни.*

В Севастополь Толстой прибыл в ноябре 1854 года и остался здесь вплоть до конца осады. В мае 1855 он назначен был командиром горного дивизиона и принимал горячее участие в несчастной для нас битве при Черной речке (11 августа).

Вот что, между прочим, говорит о нем один из его севастопольских сослуживцев: “Толстой своими рассказами и наскоро набросанными куплетами одушевлял всех и каждого в трудные минуты боевой жизни. Он был в полном смысле душой нашего общества. Толстой с нами – и мы не видим, как летит время, и нет конца общему веселью; нет графа, укатил в Симферополь, – и все носы повесили. Пропадает день, другой, третий. Наконец возвращается, ну, точь-в-точь блудный сын, – мрачный, исхудалый, недовольный собою. Отведет меня в сторону подальше и начнет покаяние. Все расскажет: как кутил, играл, где проводил дни и ночи, и при этом, верите ли, казнится и мучится, как настоящий преступник. Даже жалко смотреть на него, – так убивается. Вот это какой человек! Одним словом, странный и не совсем для меня понятный, а с другой стороны, это был редкий товарищ, честнейшая душа, и забыть его решительно невозможно” (Исторический вестник, ноябрь 1890).

С одним из куплетов, сочиненных графом Толстым, случилась маленькая история, познакомиться с которой небезынтересно. Песня относилась к несчастной битве 4 августа и, написанная в народном духе, скоро приобрела широкую популярность. Ее, говоря без преувеличения, распевало все войско. Содержание ее следующее:

Как четвертого числа
Нас нелегкая несла
Гору забирать…
Барон Вревский, генерал,
К Горчакову приставал,
Когда под шафе:
Князь, возьми ты эту гору,
Не входи со мною в ссору,
Не то донесу.
Собирались на советы
Все большие эполеты,
Даже плац Бекок…
Полицмейстер плац Бекок

Никак выдумать не мог,
Что ему сказать.
Долго думали, гадали,
Топографы все писали
На большом листу.
Гладко писано в бумаге,
Да забыли про овраги,
А по ним ходить
…
Глядь, Реад возьми да спросту
И повел нас прямо к мосту:
Ну-ка на “ура”!
На “ура”! Мы зашумели,
Да лезервы не поспели,
Кто-то переврал.
На Федюхины высоты
Нас пришло всего три роты,
А пошли полки.
Наше войско небольшое,
А француза было втрое
И секурсу тьма.
Ждали, выйдет с гарнизона
Нам на выручку колонна,
Подали сигнал.
А там N N генерал
Все акафисты читал…
И пришлось нам отступать…

(Русская старина, т. 41, 1884)

Толстой как раз в это время ожидал награды за дело при Черной и мечтал даже о флигель-адъютантстве, но до сведения начальства дошло, что автор сатирической песни – он, и с мечтами о флигель-адъютантстве пришлось распроститься, как два года назад с мечтами о Георгиевском кресте…

Несмотря на беспокойную военную жизнь, Толстой и под Севастополем не бросил литературных занятий. Здесь были им написаны “Севастополь в декабре месяце”, “Севастополь в мае”, “Рубка леса” и “Севастополь в августе 1855 года”. Рассказывают, что императрица Александра Федоровна плакала, читая первый севастопольский очерк Толстого, а государь Николай I приказал “следить за жизнью молодого писателя” и даже перевести его с 4-й батареи в более безопасное место.

27 августа Толстой участвовал в защите Севастополя, когда

был взят Малахов курган, и затем его отправили курьером в Петербург. Этим и заканчивается его военная карьера.

Нам надо теперь поближе присмотреться к севастопольским впечатлениям нашего великого писателя.

“Первое впечатление ваше от Севастополя, – рассказывает Толстой, – непременно самое неприятное: странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только не красиво, но кажется отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают что делать. Но вглядитесь ближе в лица этих людей, движущихся вокруг вас, и вы поймете совсем другое. Посмотрите хоть на этого фурштатского солдатика, который ведет поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что, очевидно, он не заблудился в этой разнородной толпе, которой для него и не существует, но что он исполняет свое дело, какое бы оно ни было – поить лошадей или таскать орудия – так же спокойно, самоуверенно и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле или Саранске. То же выражение читаете вы и на лице этого офицера, который, в безукоризненно белых перчатках, проходит мимо, и в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде, и в лице рабочих солдат, с носилками дожидающихся на крыльце бывшего Собрания, и в лице этой девицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкам перепрыгивает через улицу”.

Во всем этом нет ничего героического, великого. “Но прежде чем сомневаться, сходите на бастионы, посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты или, лучше, зайдите прямо напротив в дом, бывший прежде Севастопольским собранием и где на крыльце стоят солдаты с носилками, – вы увидите там защитников Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища”.

Вот, например, одно из “возвышающих душу зрелищ”, описанное почти шекспировскою кистью:

> “ – Ты куда ранен? – спрашиваете вы нерешительно и робко у одного старого и исхудалого солдата, который, сидя на койке, следит за вами добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе. Я говорю: “робко спрашиваете”, потому что страдания, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто переносит их.
>
> – В ногу, – отвечает солдат; но в это самое время вы сами замечаете по складкам одеяла, что у него ноги нет

выше колена. – Слава Богу теперь, – прибавляет он, – на выписку хочу.

– А давно ты уже ранен?

– Да вот шестая неделя пошла, ваше благородие.

– Что же, болит у тебя теперь?

– Нет, теперь не болит ничего; только как будто в икре ноет, когда непогода, а то ничего.

– Как же ты это был ранен?

– На 5-м баксионе, ваше благородие, как первая бандировка была: навел пушку, стал отходить, этаким манером, к другой амбразуре, как *он* ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился, глядь, а ноги нет.

– Неужели больно не было в эту первую минуту?

– Ничего; только как горячим чем меня пхнули в ногу.

– Ну, а потом?

– И потом ничего; только как кожу натягивать стали, так саднило как будто. Оно, первое дело, ваше благородие, *не думать ничего:* как не думаешь, оно тебе и ничего. Все больше оттого, что думает человек.

В это время к нам подходит женщина в сереньком полосатом платье и повязанная черным платком; она вмешивается в наш разговор с матросом и начинает рассказывать про него, про его страдания, про отчаянное положение, в котором он был четыре недели, про то, как, бывши ранен, остановил носилки, с тем чтобы посмотреть на залп нашей батареи, как великие князья говорили *с* ним и пожаловали ему 25 рублей и как он сказал им, что он опять хочет на бастион, с тем, чтоб учить молодых, ежели уже сам работать не может. Говоря все это одним духом, женщина эта смотрит то на вас, то на матроса, который, отвернувшись и как будто не слушая ее, щиплет у себя на подушке корпию, и глаза ее блестят каким-то особенным восторгом.

Это хозяйка моя, ваше благородие! – замечает вам матрос с таким выражением, как будто говорит: “Уж вы ее извините. Известно, бабье дело – глупые слова говорить”.

А смысл этих впечатлений, этих “возвышающих душу зрелищ” тот, что вы “молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этою стыдливостью перед собственным достоинством”.

Молчаливый героизм без эффектных фраз, без всякого

тщеславного желания выставить себя и сосредоточить на себе внимание и вместе с тем милое, нежное добродушие русского солдата, умеющего быть деликатным, как любящая женщина, полностью изображены Толстым в его “Севастопольских рассказах”. Он вдохновляется прежде всего этим, и вы ясно видите, что он любит (а не просто описывает) то, чем вдохновляется. Толстой первый заглянул в душу старого дореформенного солдата и первый создал его тип или, вернее, целую галерею типов, теперь уже родных и близких каждому русскому писателю. В жизни, полной самоотречения, невыносимых тягот и лишений почти нечеловеческих, жизни без тени личного счастья, без семьи, без будущего, с вечно поднятым над головой обухом, с не уходящим ни на шаг призраком смерти, Толстой учуял что-то таинственное, прекрасное и чистое, как звезда на небе. И он склонился перед этим, и вера в народ утвердилась в его сердце раз на всю жизнь. Как ни менялось впоследствии миросозерцание Толстого, как ни глубоко погружался он в безнадежное отрицание – эта вера спасала его и вызывала после каждого падения к новой жизни, новой работе.

Если в кавказских рассказах Толстого на первый план выступает противоречие между природой и человеком, миром одной и суетливостью и кровожадностью другого, то в “Севастопольских рассказах” почва этих противоречий шире, разнообразнее и глубже.

Во время перемирия разыгрывается, например, такая сцена:

> “Вот пехотный бойкий солдат, в розовой рубахе и шинели внакидку, в сопровождении других солдат, которые, руки за спину, с веселыми, любопытными лицами стоят за ним, подошел к французу и попросил у него огня закурить трубку. Француз разжигает, расковыривает трубочку и высыпает огня русскому.
>
> – Табак *бун,*– говорит солдат в розовой рубашке, и зрители улыбаются.
>
> – Oui, bon tabac, tabac turc, – говорит француз, – et chez vous autre tabac – russe? bon?[5]
>
> – Рус – бун, – говорит солдат в розовой рубашке, причем присутствующие покатываются со смеху. – *Франсе, бун, бонжур, мусье!* – говорит солдат в розовой рубашке, сразу уж выпуская весь свой заряд знаний языка, и треплет француза по животу и смеется. Французы тоже смеются.
>
> – Ils ne sont pas jolis, ces b… de Russes,[6] – говорил один зуав из толпы французов.

– De quoi ils rient donc?[7] – говорит другой, черный, с итальянским выговором, подходя к нашим.

– Кафтан – бун, – говорит бойкий солдат, рассматривая шитые полы зуава, и опять смеется.

Ne sors pas de ta ligne, á vos places, sacré norn![8] – кричит французский капрал, и солдаты с видимым неудовольствием расходятся".

Не странно ли будет видеть потом, всего через несколько часов, этих добродушных людей, так весело разговаривавших друг с другом, с ожесточенными и освирепевшими лицами прокалывающих друг друга штыками? Вражды между ними нет никакой; если бы не странная стихийная сила, руководящая ими, они долго бы еще продолжали беседовать и смеяться, а потом вместе и дружно принялись бы за работу. Но "белые флаги спрятаны, и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятия".

Дикая и страшная трагедия человеческой жизни разыгрывается на полях сражений. Где и в чем можно найти ей оправдание? И вместе с Толстым невольно спрашиваешь себя: "Неужели эти люди – христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, – глядя на то, что они сделали, с раскаянием не упадут вдруг на колена перед Тем, Кто дал им жизнь, вложил в душу каждого, вместе со страхом смерти, любовь к добру и прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, как братья?"…

Нет, не обнимутся. Цветущая долина покрывается мертвыми телами, опять свистят орудия смерти, прекрасное солнце спускается к синему морю, синее море, колыхаясь, блестит в золотых лучах солнца, а люди, как дикие звери, бросаются друг над друга и рвут друг друга зубами…

Гете заметил как-то, что истинный художник всегда ребенок. Как ребенок он наивен, удивляется тому, чему уже перестали удивляться мы, опытные люди, и задает такие вопросы, которые уже не существуют для нас. В узком ущелье Валерика великий и наивный ребенок Лермонтов, видя перед собой окровавленные трупы так недавно еще веселых и полных жизни людей, спрашивает: "Зачем?"; под стенами Севастополя тот же вопрос не Дает ни минуты покоя другой великой наивной душе – душе Толстого. Он как художник не понимает и не может понять того, что как будто понимаем мы, что, пожалуй, сам он понимает как офицер, как командир дивизиона, как защитник Севастополя, мечтающий о флигель-адъютантстве. Но художник "наивен", его чуткое сердце не может успокоиться на тех объяснениях и

ответах, на которых успокаивается обычный смертный; цветущая долина, заваленная мертвыми телами, для него не просто поле сражения, где победили мы или французы, где было столько-то стычек, где столько-то убито, столько-то ранено; эта цветущая долина для него что-то страшное, таинственное, преступное, вызывающее один и тот же роковой вопрос: “Зачем?”

Во втором севастопольском рассказе (“Севастополь в мае”) перед нами развертывается и другое противоречие, поразившее Толстого. Это противоречие народного и интеллигентского духа. Молчаливый героизм народа и тщеславная суетливость интеллигента никогда еще до той поры так резко не противопоставлялись друг другу. Впоследствии Толстой построил на нем свою эпопею “Война и мир”, но впервые оно было постигнуто им уже под стенами Севастополя. Интеллигент носится со своим *я,* не может ни на минуту отделаться от забот о нем. Это маленькое требовательное я суетится, беспокоится, страдает и радуется, смотря по тому, хорошо ли ему или дурно, тепло ему или холодно.

Желание выставить себя с самой выгодной стороны, выдвинуться в первый ряд – это тщеславное суетливое желание ни на минуту не исчезает из интеллигентской души, и бесконечные интриги, разнузданная игра себялюбия – иногда совершенно невинная, детская, иногда скверная, потому что корыстолюбивая, – постоянно происходят на фоне молчаливого народного героизма. Идти на бастион значит идти почти на верную смерть, и вот по дороге туда культурный человек штабс-капитан Михайлов думает: “И каково будет удивление и радость Наташи, когда она вдруг прочтет в *“Инвалиде”* описание, как я первый влез на пушку и получил Георгия. Капитана я должен получить по старому представлению. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по линии, потому что немало перебито, да и еще, верно, много перебьют нашего брата в эту кампанию. А потом опять будет дело, и мне, как известному человеку, поручат полк… подполковник… Анну на шею… полковник…” – и в мечтах своих штабс-капитан Михайлов добрался уже до генеральского чина… Тот же штабс-капитан Михайлов на музыке в саду весь поглощен соображениями о том, как и с кем ему поздороваться, к. кому подойти, с кем заговорить. Он избегает компании своих товарищей-армейцев, потому что один из них в верблюжьих штанах и без перчаток, а другой кричит ужасно громко на весь сад, – но не решается и подойти к “аристократам”… “Что, ежели, – спрашивает он себя, – они вдруг мне не поклонятся, или поклонятся и будут продолжать говорить между собою, как будто меня нет, или вовсе уйдут от меня, и я

там останусь один?…”

Ребячество капитана Михайлова вызывает лишь улыбку, как вызывают улыбку и его ненужные мысли. Но можно не только улыбаться, а и задуматься, видя поразительное и странное сочетание культурной ярмарки тщеславия и эгоизма с молчаливым героизмом простого народа.

В культурном человеке слишком сильно чувство личности: это-то и портит все дело. Лишь в минуты нравственного прозрения спрашивает он себя: “Что значат смерть и страдания такого ничтожного червяка, как я, в сравнении со столькими смертями и страданиями?”… Но вид чистого неба, сияющего солнца, красивого города опять приводит культурную душу в обычное состояние маленьких себялюбивых забот, опасений, мечтаний… Быть лучше, сильнее, красивее другого – вот нерв культурного бытия, и в этом же его главное противоречие с народным духом.

Ярмарка тщеславия, с одной стороны, молчаливый героизм, с другой, ежеминутно были перед глазами графа Толстого под стенами Севастополя. Чему симпатизировать, что любить – он знал и ни минуты не колебался в своем выборе. Но по самой жизни своей, по практическим целям он принадлежал еще ярмарке тщеславия и был глубоко огорчен, когда убедился, что не получит флигель-адъютантских аксельбантов.

ГЛАВА V. В ПЕТЕРБУРГЕ

В Петербург граф Толстой приехал в конце 1855 года. Перед 27-летним офицером, богатым и титулованным, к тому же севастопольским героем, разумеется, были раскрыты все двери “лучших”, как это принято говорить, домов. Его принимали везде, везде ласкали и холили, всячески за ним ухаживали… Чего казалось бы лучше? Впереди блестящая карьера, полная возможность устроить блестящую партию с какой-нибудь милой и титулованной Кити Щербацкой, а между тем Толстой редко чувствовал себя хорошо и большую часть времени находился в каком-то беспокойном и тревожном настроении духа. Литературная известность и ореол севастопольского героя не могли, разумеется, не льстить молодому тщеславию, но успокоиться и почить на приобретенных лаврах невозможно вдумчивому человеку. Тем более очевидно, что Толстым по наследству получена наклонность рассматривать все с мрачной точки зрения, – результат духовного переутомления ряда поколений. История его развития и жизни была бы совсем другая, если бы он мог повторить гордые слова, сказанные когда-то Прудоном: “Четырнадцать моих прадедов были земледельцами; укажите мне более благородное происхождение!”

На двух фотографических снимках, сохранившихся от петербургского периода, граф Толстой является исключительно в литературном обществе. На первом из этих снимков он изображен вместе с Григоровичем, Гончаровым, Тургеневым, Дружининым и Островским; на втором – с Некрасовым, Соллогубом, Панаевым, опять Тургеневым и Григоровичем. Перед нами, стало быть, вся редакция “Современника” и все светила русской литературы 50-х годов. Тургенев был в то время излюбленным и славнейшим писателем, Некрасов пропел уже многие из своих лучших песен, Григоровича знали все как автора “Антона-Горемыки”, а Дружинин считался первым критиком, пока на смену ему не пришел сначала Чернышевский, а потом Добролюбов.

Среди аристократов литературы граф Толстой был своим. Его “Севастопольские рассказы” были по заслугам оценены публикой, а “Детство”, “Отрочество” и “Юность”, хотя и не пользовались широкой популярностью, заставили видеть в авторе большой и серьезный талант.

Но ни с кем из писателей Толстой близко не сошелся. В его натуре, по-видимому, мало данных для дружбы, или эти данные не могут уравновесить слишком большой чуткости и проницательности. Истинно дружен он был всего один раз в

жизни, со старшим братом своим Николаем Николаевичем. С Тургеневым Толстой жил даже на одной квартире, но особого расположения ни с той, ни с другой стороны не было: они не понимали друг друга, спорили до хрипоты и скоро разошлись по разным дорогам.

Из этого петербургского периода Фет сохранил такое воспоминание. “Я, – рассказывает он, – только раз видел Льва Николаевича Толстого у Некрасова вечером и с первой минуты заметил в молодом Толстом невольную оппозицию всему общепринятому в области суждений.

“Я не могу признавать, – говорил, например, Лев Николаевич Тургеневу, – чтобы высказанное вами было вашим убеждением. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: “Пока я жив, никто сюда не войдет”. Вот это убеждение! А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждением”. – “Зачем же вы к нам ходите?” – задыхаясь, спрашивал Тургенев. – “Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить! И праздные разговоры ни от каких моих приходов не превратятся в убеждения”.

О той же оппозиции Толстого всему общепризнанному, о резкости его мнений и так далее говорит и Панаев в своих “Воспоминаниях”, и, как кажется, будет нетрудно объяснить причины и источник такого настроения.

Толстой только вернулся из-под Севастополя; в его ушах все еще гремели орудия, раздавались стоны и хрип раненых; там же, на полях битвы, он первый раз оценил простого русского человека, его бесхитростную душу, его молчаливый героизм. В Петербурге не только не было ничего похожего на только что виденное и испытанное, а было как раз противоположное, особенно в том кругу знатных бар и богатых прославленных литераторов, в котором вращался Толстой. Жизнь он вел легкую, веселую, праздную и видел вокруг все такую же жизнь, которая считалась приличной, комильфотной и вполне удовлетворительной в нравственном отношении. Не представлялись ли эта блестящая обстановка гостиных, этот постоянный флирт между праздными мужчинами и праздными женщинами, эти кутежи в загородных ресторанах, карточная игра, эти пустопорожние разговоры об убеждениях чем-то обидным после серьезных и страшных севастопольских впечатлений? Отказаться от этой жизни Толстой в то время не мог, но он чувствовал и знал, что это не *та,* не настоящая жизнь, что в ее легкомыслии и праздности есть и безнравственное, и даже прямо преступное. Толстой серьезен, порою серьезен до мрачности, его ум вдумчив и настойчив, и войти в петербургскую колею,

увлечься времяпрепровождением богатого и знатного литератора он не мог уже и тогда. В самом литературном кружке, к которому он принадлежал, многое должно было раздражать его, и особенно Тургенев с его европеизмом, англоманством и изящно барскими взглядами на литературу, искусство, прогресс, историю. Против грубости Толстой никогда ничего не имел, но он всегда морщился от всякой неискренности, от всякой заученной красивой фразы, а ведь этих фраз в литературных и барских гостиных ему приходилось слушать без числа. И он ссорился, спорил до хрипоты, и все это совсем не было стоянием за правду, а просто взрывами раздражения на легкую праздную жизнь, на пустопорожние разговоры, на самого себя.

Ведь мы знаем, чем в конце концов завершились его искания правды и каким путем достиг он если и не полного счастья, то по крайней мере спокойствия духа. Для этого Толстому понадобилось не только сердцем своим, но и разумом, но и всей жизнью, с ее обстановкой и обиходом, стать органической частицей простой народной массы. В 27 лет сделать этого было нельзя, особенно Толстому, которого условия его жизни и воспитания, традиции рода, родные и знакомые тянули совсем в другую сторону. Прекрасно сказано по этому поводу у Н.К. Михайловского:

> “Легко было Прудону веровать в народ и требовать от других такой же веры, когда он сам вышел из народа: он веровал в себя. Такого непосредственного единения между Толстым и народом нет. Легко было Прудону смело констатировать оборотную сторону цивилизации, когда эта оборотная сторона непосредственно давила его и близких его. Такого давления граф Толстой не испытывает. Легко было Прудону говорить, что, выражаясь словами графа Толстого, “в поколениях работников лежит и больше силы, и больше сознания правды и добра, чем в поколениях лордов, баронов, банкиров и профессоров”. Прудону было легко говорить это, когда отец его был бочаром, мать кухаркой, а сам он наборщиком; когда он имел право сказать одному легитимисту: “У меня четырнадцать прадедов крестьян, назовите хоть одну фамилию, которая насчитывала бы столько благородных предков”. Но граф Толстой находится скорее в положении того легитимиста, который получил этот отпор. Оставьте в стороне вопрос о том, верны или неверны те выводы, к которым пришел Прудон, и те, к которым пришел граф Толстой.

> Положим, что и те, и другие так же далеки от истины, как пещерные люди от графа Толстого. Обратите внимание только на следующее обстоятельство: вся обстановка, все условия жизни, начиная с пеленок, гнали Прудона к тем выводам, которые он считал истиной; все условия жизни графа Толстого, напротив, гнали и гонят его в сторону от того, что он считает истиной. И если он все-таки пришел к ней, то как бы он себе ни противоречил, вы должны признать, что это мыслитель честный и сильный, которому довериться можно, которого уважать должно".

Сами литературные кружки первой половины 50-х годов не могли не вызвать в Толстом сначала недоверия, а потом и враждебности. Это было какое-то странное, переходное время от величайшего гнета конца николаевской эпохи к значительной свободе нового царствования. Тяжелая атмосфера недавно пережитого еще не сменилась новой, а лишь медленно и робко вытеснялась ею. Пока длилась осада Севастополя и война, старые принципы и старые правила беспрепятственно царили в жизни и все подчинялись им. Писатели, жившие в то время, надо отдать им полную справедливость, умели недурно приспособиться к обстановке и чувствовали себя и счастливыми, и довольными. Белинский умер в 1848 году, и его место трибуна не было занято никем. Если не о нем, то о его проповеди забыли даже в кружке близких ему лиц и, как дети, вырвавшиеся из-под строгого надзора, предались легкомыслию, самодовольству, увлечению чистой красотой. Несколько одностороннее, но в сущности глубоко верное описание литературного легкомыслия того времени дал нам сам Толстой:

"Мне, – рассказывает граф Толстой, – было 26 лет, когда я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли как своего, льстили мне даже. И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше. Взгляды эти под распущенность моей жизни подставили теорию, которая ее оправдывала. Теория утверждала, что жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы, художники, поэты. Наше призвание учить людей, не зная чему: художник-де и поэт учат бессознательно. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. И вот я, художник, поэт, писал и учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у

меня был прекрасный стол, квартира, женщины, общество, у меня была слава: значит то, чему я учил, было очень хорошо. Теория эта о развитии жизни и значении поэзии была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй и особенно на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что жрецы этой веры не все были согласны между собою. Одни из них говорили: “Мы – самые хорошие и полезные учителя; мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно”. А другие говорили: “Нет, мы настоящие, а вы учите неправильно”. И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали друг против друга.

Люди мне опротивели, и сам я себе опротивел. Я понял, что в своем самообольщении мы не замечали, что ничего не знаем, что мы не знаем самого главного, что на самый простой и вместе единственно важный вопрос жизни: что хорошо, что дурно, – мы не умеем найти никакого точного ответа. И вот мы, не зная этого единственно важного в жизни, не зная добра и зла, чему-то кого-то учили, кричали, не слушая друг друга, иногда потакая друг другу и восхваляя друг друга, с тем, чтобы и меня похвалили, иногда же раздражаясь друг против друга – совершенно как в сумасшедшем доме. И я, смутно чувствуя ложь эту, не зная, где истина, страдал, но не имел духа отречься от тщеславного чина художника, поэта, учителя, – и гордость моя, и сумасшедшая уверенность, что я призван учить людей, сам не зная чему, все более и более болезненно развивались. Так я жил, предаваясь этому безумию, еще шесть лет”.

Но и предаваясь безумию, Толстой в святая святых души своей не мог мириться с ним. Он спорил и ссорился, отрицал Шекспира, не хотел стоять на коленях перед Пушкиным – что тогда требовалось литературным уставом, смеялся над несколько чувствительным народничеством, процветавшим с легкой руки Григоровича, и сердился на всех и вся: и на изящные манеры, и на изящный язык, и на изящные теории чистой красоты.

Недовольный Петербургом, он скоро уехал из него. Несколько странно объясняет причины этого недовольства г-н Берс, говоря: “Петербург никогда Льву Николаевичу не нравился: он не мог ничем выдвигаться в высшем кругу Петербурга, служебной карьеры он не домогался, большим состоянием не владел, а громкой славы писателя тогда еще не составилось у него”.

Считать все эти мелочи главной причиной недовольства я не могу, но я охотно допускаю, что и эти мелочи могли играть

некоторую роль, с точки зрения дрожжей старого барства. Но в святая святых души, не исчезая, таилось преклонение перед молчаливым героизмом народа и его страданиями. Оно-то и навело Толстого на такие мысли.

“Счастье вот что… счастье, чтобы жить для других. И это ясно. В человека вложена потребность счастья, стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства, славы, удобств жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение”… Но это еще не правило жизни, это настроение.

ГЛАВА VI. В ДЕРЕВНЕ И ЗА ГРАНИЦЕЙ

Полагаю, никто не станет требовать от меня, чтобы я представил всю жизнь графа Толстого вытянутой в одну линию, а самого Льва Николаевича каждую минуту сокрушающимся о грехах своих, о противоречиях цивилизации и ищущим опять-таки каждую минуту правды и истины. Жизнь Толстого, как и всякого человека, исполнена противоречий. Великое сегодня – завтра представлялось ему ненужным и пустым, что с точки зрения нервной молодости совершенно логично. Всех уклонений от господствующего настроения, искавшего близости с народом, я перечислять не буду. Но на некоторых остановиться необходимо. Главным из этих последних было отмеченное нами еще при описании юности стремление к личному совершенствованию. Стремление это принимало самую разнообразную форму, вплоть до гимнастических упражнений на трапеции и с тяжелыми гирями, и уж сам граф Толстой виноват, что придал этим невинным развлечениям мрачный характер, рассказывая о них впоследствии в “Исповеди”.

> “Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя – то, что, кроме животных инстинктов, двигало моей жизнью, – единственная вера моя в то время была вера в совершенствование, в прогресс. Но в чем она была, какая была цель их, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать себя умственно и учился всему, чему мог и на что наталкивала меня жизнь. Я старался совершенствовать свою волю, составлял себе правила, которым старался следовать. Совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И все это я считал совершенством в применении к себе. Началом всего этого было, разумеется, нравственное совершенствование, но вскоре оно подменилось совершенствованием вообще, то есть желанием быть лучше не перед самим собою или перед Богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И скоро это желание быть лучше перед другими подменилось желанием быть сильнее других… *Гадко* вспомнить даже об этом. Но, говоря совсем беспристрастно, я не могу

обвинять в этом только себя. Напротив, у меня и тогда было горячее желание добра. Но я был молод, у меня были страсти, и я оказывался совершенно одинок каждый раз, когда хотел уйти от страстей и идти к добру… Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть – все эти проявления индивидуальной силы уважались людьми, и я, проявляя эти отвратительные страсти, становился похож на других взрослых людей и этим вызывал в них одобрение…”

Толстому *гадко* было впоследствии вспоминать о своем стремлении к совершенствованию, но на самом деле не все же было гадко в этом стремлении, а напротив, многое хорошо, симпатично и даже, если хотите, комично. Толстой увлекался гимнастикой, и вот по утрам в Ясной Поляне, когда к нему являлся бурмистр за приказаниями, происходила такая, например, сцена: “Барин в трико висит вниз головой, на трапеции раскачивается, выкидывает различные пируэты и в то же время беседует о запашках и умолоте…”

– Барское дело!.. – подумывал, вероятно, бурмистр, почесывая у себя в затылке и почтительно следя за барином, чудесно выделывавшим “козла”.

Смешно-то это смешно, но что же тут гадкого?…

В Ясную Поляну Толстой вернулся из Петербурга в 1856 году, несколько утомленный столичною жизнью, ее пустопорожним и не всегда чистым времяпрепровождением, внимательно присматривался к сельскому быту, усердно занимался хозяйством, увлекался даже полевыми работами…

“Понравилось ему, – с добродушной иронией пишет в это время его брат Николай, – как работник Юфан растопыривает руки при пахоте, и вот Юфан для него эмблема сельской силы, вроде Микулы Селяниновича. Он сам, широко расставляя локти, берется за соху и юфанствует”. Литературная работа на лоне природы идет успешно. За это время были написаны “Юность”, “Встреча в отряде”, “Метель”, “Записки маркера”, “Два гусара”.

Но и на этот раз Ясная Поляна не могла полностью удовлетворить его, и он отправился за границу.

“В это время, – писал он впоследствии, держась своей обычной мрачной точки зрения на свое прошлое, – я поехал за границу. Жизнь в Европе и сближение мое с передовыми и учеными европейскими людьми утвердили меня еще больше в той вере совершенствования вообще, потому что ту же самую веру я нашел и у них. Вера эта приняла во мне ту обычную форму, которую она имеет у большинства образованных людей нашего

времени. Вера эта выражалась словом “прогресс”. Только изредка не разум, а чувство возмущалось против этого общего в наше время суеверия, которым люди заслоняют от себя непонимание жизни. Но это были только редкие случаи сомнений; в сущности же я жил, продолжая использовать веру в прогресс… “Все развивается, и я тоже развиваюсь, а зачем это я развиваюсь вместе со всеми – это видно будет”. Так бы я должен был формулировать тогда свою веру”…

Толстой был за границей всего два раза (1857 и 1859 годы). Несмотря на его собственную характеристику этих поездок, приходится с ним не согласиться, а сказать, что заграница принесла очень много пользы, если и не самому графу, то по крайней мере делу русского народного образования, находившемуся еще тогда в зачаточном состоянии.

О первой поездке Толстого В.П. Боткин писал, между прочим, Дружинину: “Письмо Толстого ко мне занимает всего только одну страничку, но исполнено свежести и бодрости. Германия очень заинтересовала его, и он хочет потом поближе узнать ее. Через месяц он едет в Рим”. Толстой довольно долгое время пробыл в Париже, где встретился с Тургеневым, но не совсем удачно. “Толстой, – продолжает там же В.П. Боткин, – пишет о свидании своем с Тургеневым: оба они опять блуждают в каком-то мраке, грустят, жалуются на жизнь, ничего не делают и тяготятся, как кажется, своими респективными отношениями”. Об этих же “респективных” отношениях говорит и Тургенев в одном из своих писем от 1857 года: “С Толстым я все-таки не могу сблизиться окончательно: слишком мы врозь глядим”…

Заметим, что по многим и многим причинам первая поездка должна была оставить по себе тяжелое впечатление в душе Толстого. В Париже он видел смертную казнь, “обличившую ему всю шаткость суеверий прогресса”, и в то же время умер его старший любимый брат, Николай. Это была светлая, незаменимая личность. “Талантливый собеседник и рассказчик, – говорит Тургенев, – он жил всегда или у себя в деревне, или в маленьком, чрезвычайно простом домике в Москве, в самой невозможной квартире, чуть ли не в лачуге где-нибудь в отдаленном квартале, охотно делясь всем с последним бедняком”… Здесь-то смерть и взглянула впервые на Толстого своими страшными глазами. Правда, вокруг него умирали и раньше, умирали на Кавказе и под Севастополем, но все это были чужие люди, с жизнью которых не чувствовалось неразрывной связи.

“И вот этот умный, добрый, серьезный человек, – вспоминал впоследствии Толстой о своем брате, – еще молодым заболел чахоткой, страдал более года и мучительно умер, не понимая,

зачем он жил, еще меньше понимая, зачем он умер…

Ничто в жизни не делало на меня такого впечатления. Правду он говаривал, что хуже смерти ничего нет. А как хорошенько подумать, что она все-таки конец всего, то и хуже жизни ничего нет… Для чего хлопотать, стараться, коли от того, что был Николай Николаевич Толстой, ничего не осталось!..

За несколько минут перед смертью он задремал и вдруг очнулся и с ужасом прошептал: “Да что же это такое?” – Это он ее увидел, это поглощение самого себя в ничто. А уж ежели он ничего не нашел, за что ухватиться, что же я-то найду? Еще меньше. И уж верно ни я и ничто так не будет до последней минуты бороться с нею, как он”.

Этот момент (смерть брата) я считаю важнейшим определяющим моментом для целого периода жизни Толстого. После этой смерти он поторопился вернуться в Россию и целый год провел в тяжелом настроении духа. Он написал за это время “Люцерн” и “Альберт”, и чем-то мрачным веет от обоих этих рассказов и их бесконечно грустных сюжетов… Толстого стала мучить мысль о смерти, тем более что в своей груди он чувствовал присутствие той же болезни, которая свела в могилу его брата.

Он уже часто стал рассуждать о жизни с точки зрения смерти и, значит, в минуту наиболее сильно овладевавших им дум, переставал жить. “Нельзя уговорить камень, – пишет он в 1860 году, – чтоб он падал кверху, а не книзу, куда его тянет. Нельзя смеяться шутке, которая наскучила. Нельзя есть, когда не хочется. *К чему все, когда завтра начнутся муки смерти, со всею мерзостью лжи, самообмана, и кончатся ничтожеством, нулем для себя”…* Я беру жизнь, – продолжает он, – как она есть. Как только дойдет человек до высшей степени развития, так он увидит ясно, что все дичь, обман, и что правда, которую все-таки он любит лучше всего, что эта правда ужасна, что как увидишь ее хорошенько, ясно, так очнешься и с ужасом скажешь, как брат: “Да что ж это такое?” Но, разумеется, покуда есть желание знать и говорить правду, стараешься знать и говорить. Это одно, что осталось у меня из морального мира, выше чего я не могу стать. Это одно я и буду делать, только не в форме вашего искусства. Искусство есть ложь, а я уж не могу любить прекрасную ложь”…

К чему *все,* когда завтра начнутся муки смерти, “со всею мерзостью лжи, самообмана, и кончатся ничтожеством, нулем для себя”? Новый страшный и огромный вопрос прибавился к вопросам, прежде бывшим, и если не сейчас, то позже занял первенствующее положение. С этой поры тень смерти начинает падать на все лучшие страницы, вышедшие из-под пера Толстого,

а картины смерти то и дело вдохновляют его. Смерть – муза философии, и эта формула как нельзя лучше оправдалась в жизни Толстого. Довольно легкомыслия, веселости, суетливых забот о своем *я,* – довольно игры, тщеславия и гордости, – довольно смеха и шуток, ведь есть что-то страшное, что после жизни ожидает каждого из нас, и это страшное, это неотразимое – смерть. Как же примирить с нею мою жажду вечности, мою любовь к себе, мое настойчивое требование личного счастья?

ГЛАВА VII. ВТОРАЯ ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Между первой и второй заграничной поездкой Толстого прошло около года. Этот год он провел в деревне и между прочим занимался с крестьянскими детьми. Строй будущей яснополянской школы несомненно вырисовывался уже перед ним в это время, но, прежде чем устроить школу, он хотел серьезно подготовиться к этому делу, вся огромная необходимость которого тем яснее выступала на первый план, чем оживленнее шли приготовления к манифесту 19-го февраля. Здесь я желаю напомнить читателю несколько строк из статьи “Яснополянская школа в декабре и ноябре”, – строк, где изложены драгоценные мысли, хотя и сам Толстой не раз изменял им и не раз им противоречил.

“Я вижу, – говорит Толстой, – людей честных, добрых, членов благотворительных обществ, которые готовы дать и дают одну сотую своего состояния бедным, которые учредили и учреждают школы и которые, прочтя это, скажут: нехорошо! и покачают головой. Зачем усиленно развивать крестьянских детей? Зачем давать им чувства и понятия, которые враждебно поставят их к своей среде? Зачем выводить их из своего быта? Я не говорю уже о тех, выдающих себя с головой, которые скажут: хорошо будет устройство государства, когда все захотят быть мыслителями и художниками, а работать никто не станет! Эти прямо говорят, что они не любят работать, и потому нужно, чтобы были люди не то что неспособные для другой деятельности, а рабы, которые работали бы за других. Хорошо ли, дурно ли, должно ли выводить их из их среды и так далее – кто это знает? И кто может вывести их из своей среды? Точно это какое-нибудь механическое дело. Федька не тяготится своим оборванным кафтанишком, но нравственные вопросы и сомнения мучат Федьку, а вы хотите дать ему три рубля, катехизис и историйку о том, как работа и смирение, которых вы сами терпеть не можете, одни полезны для человека. Три рубля ему не нужны, он их найдет, когда они ему понадобятся, а работать научится без вас так же, как дышать; ему нужно то, до чего довела вас ваша жизнь, ваших десять не забитых работой поколений. Вы имели досуг искать, думать, страдать, – дайте же ему то, что вы выстрадали, ему этого одного и нужно; а вы, как египетский жрец, закрываетесь от него

таинственной мантией, зарываете в землю талант, данный вам историей. Не бойтесь, человеку ничто человеческое не вредно. Вы сомневаетесь? Отдайтесь чувству, и оно не обманет вас. Поверьте его природе, и вы убедитесь, что он возьмет только то, что заповедала вам передать ему история, что страданиями выработалось в вас".

Мы еще вернемся к этому, пока же несколько слов о второй заграничной поездке Толстого. Он отправился туда с целью главным образом изучать тамошние школы и существующие в них системы преподавания, но при этом он знакомился и с постановкой благотворительного дела, а также почему-то с устройством тюрем.

Прежде всего он отправился в Берлин, слушал лекции Дройзены и Дюбуа-Реймона, посещал музеи и особенное внимание обратил на тюрьму в Моабите, где введено было одиночное заключение. Дальше в своих поездках по Германии он посещает собрания ремесленных союзов, устроенных Шульце-Деличем, знакомится с педагогической знаменитостью Дистервегом, но разочаровывается в нем за "сухость и черствость". В Вартбурге он заносит в свою записную книгу слова: "Лютер велик", отсюда едет в Дрезден, всюду по дороге осматривая школы, и навещает между прочим знаменитого романиста Ауэрбаха, который был в то время его любимцем за то, вероятно, что старался писать книги для народа.

Войдя к Ауэрбаху, Толстой отрекомендовался так: "Я Евгений Бауман[9] не по имени, а по характеру. Ваши книги заставили меня серьезно задуматься над многим и вообще глубоко и благотворно повлияли на меня". Вспоминая об этом эпизоде, Ауэрбах говорил Скайлеру, что он ужасно испугался, когда какой-то странно глядевший господин сказал ему, что он – Евгений Бауман.

"Я боялся, – прибавил Ауэрбах, – что он будет грозить мне за пасквиль или диффамацию".

Из Дрездена он отправляется в Киссинген, изучает историю педагогики, сочинения Бэкона, Риля, знакомится с Фребелем и его сочинениями, едет в Италию, Швейцарию, Марсель, Париж, Лондон, Брюссель, где близко сходится с Прудоном и Лелевелем, а в Веймаре – с Листом. Нужно заметить, что Лев Николаевич – серьезный знаток и любитель музыки и ежедневно проводил несколько часов за роялем. В Веймаре он посещает детские сады и через Иену возвращается обратно в Россию. За это время написаны им "Три смерти", "Семейное счастье" и "Поликушка".

Вернувшись в 1861 году в Ясную Поляну, Лев Николаевич занял место посредника и всецело отдался как новой своей

обязанности, так и школам. В это же время он начал издавать знаменитый свой педагогический журнал “Ясная Поляна”, в котором сообщал сведения о методе, порядке и ходе преподавания в Яснополянской школе, необычайном явлении не только у нас в России, но и Европе. Это была первая вполне свободная школа. Ученики приходили и уходили когда хотели, делали что им угодно, учились только тем предметам, которые выбирали, и в том виде, в каком им нравилось, без всякого принуждения, без малейшей дисциплины, кроме той, которую они вводили сами. Рассаживались не по струнке за партами, а размещались где кому было удобнее: одни лежали на животе, другие разваливались на кресле, третьи скучивались где-нибудь в уголке или у окошка. Никаких принуждений, никаких приказаний не допускалось. Задача учителей заключалась в том, чтобы интересом самого преподавания уметь завладеть вниманием учеников и заставить их водворить порядок. И вот в этой свободной республике преподавание шло крайне успешно, и ученики научились любить школу и ученье благодаря тому, что все учителя проникнуты были истиной, не раз высказываемой Львом Николаевичем: “Всякое принуждение вредно и указывает на недостаток самого метода и преподавания. Чем с меньшим принуждением учатся дети, тем метод лучше; чем с большим, тем хуже”. Учителя и во главе них Лев Николаевич старались выработать самый лучший метод при наибольшей свободе учеников.

Такова была эта школа, и теперь вызывающая удивление в педагогах, например, французских, которые решительно отказываются понять, как при такой анархии водворялся свободный порядок. Не отрицая факта успешности преподавания в Яснополянской школе, они стараются объяснить это громадной разницей между французскими городскими детьми и русскими деревенскими ребятами, тогда как главная причина здесь кроется в том, что громадное большинство учителей, как французских, так и европейских вообще, а наших русских в частности, имеют в виду свое удобство, а не удобство учеников, и не придерживаются основного правила педагогической деятельности Льва Николаевича. Вот это основное правило: “Учитель никогда не должен позволять себе думать, что в неуспехе виноваты ученики, а твердо знать, что в неуспехе виноват только он, потому что чем хуже сам учитель знает предмет, которому он учит, тем ему нужнее строгость и принуждение; напротив, чем больше учитель знает и любит предмет, тем естественнее и свободнее его преподавание”.

Свободная его школа и издаваемый при ней журнал “Ясная

Поляна” породили недоразумение в правящих сферах, выразившееся в следующей интересной переписке между министерствами внутренних дел и народного просвещения; министр внутренних дел сообщил министру народного просвещения 3 октября 1862 года:

> “Внимательное чтение педагогического журнала “Ясная Поляна ”, издаваемого графом Толстым, приводит к убеждению, что этот журнал, проповедующий совершенно новые приемы преподавания и основные начала народных школ, нередко распространяет такие идеи, которые, независимо от их неправильности, по самому направлению своему оказываются вредными. Не входя в подробный разбор доктрины этого журнала и не указывая на отдельные статьи и выражения, что, впрочем, не представляло бы затруднений, я считаю нужным обратить внимание Вашего Превосходительства на общее направление и дух этого журнала, нередко низвергающие основные правила религии и нравственности. Продолжение журнала в том же духе, по моему мнению, должно быть признано тем более вредным, что издатель, обладая замечательным и, можно сказать, увлекательным литературным дарованием, не может быть заподозрен ни в злоумышленное™, ни в недобросовестности своих убеждений. Зло заключается именно в ложности и, так сказать, в эксцентричности этих убеждений, которые, будучи изложены с особенным красноречием, могут увлечь на этот путь неопытных педагогов и сообщить неправильное направление делу народного образования. Имею честь сообщить о сем вам, Милостивый Государь, в том предположении, что не изволите ли Вы признать полезным обратить особое внимание Цензора на это издание”.

Получив это отношение, министр народного просвещения поручил рассмотреть все вышедшие книги журнала “Ясная Поляна” и сообщил министру внутренних дел от 24 октября того же года, что, как по собственному наблюдению министерства, так и по содержанию представленного ему, министру, отчета о “Ясной Поляне”, в направлении помянутого журнала нет ничего вредного и противного религии, но встречаются крайности педагогических воззрений, которые подлежат критике в ученых педагогических журналах, а никак не запрещению со стороны цензуры.

“Вообще, – писал далее министр народного просвещения, – я

должен сказать, что деятельность графа Толстого по педагогической части заслуживает полного уважения и Министерство народного просвещения обязано помогать ему и оказывать содействие, хотя не может разделить всех его мыслей, от которых, после многостороннего обсуждения, он и сам, вероятно, откажется".

Яснополянская школа просуществовала около трех лет и умерла естественной смертью не столько от недостатка интереса со стороны Толстого, сколько оттого, что каждый ребенок в деревне со 150 жителями выучился всему, что он считал для себя нужным, а новых учеников не набиралось довольно, чтобы стоило содержать школу. Выход журнала "Ясная Поляна" тоже прекратился.

"Вопрос о том, в чем состоит критериум того, чему и как должно учить, получал для меня все больше значения, – говорит Лев Николаевич, – только решив его, я мог быть уверен, что то, чему и как я учил, не было ни вредно, ни бесполезно.

В то время я не нашел в педагогической литературе не только сочувствия, не нашел даже противоречий, но совершеннейшее равнодушие к поставленному мною вопросу. Были нападки на некоторые подробности, мелочи, но самый вопрос, очевидно, никого не интересовал. Я тогда был молод, и это равнодушие огорчало меня. Я не понимал, что я со своим вопросом: почему Вы знаете чему и как учить? – был подобен тому человеку, который бы, положим, хоть в собрании турецких пашей, обсуждающих вопрос о том, как побольше собрать податей, предложил им следующее: господа, чтобы знать, с кого сколько брать податей, надо разобрать вопрос: на чем основано наше право взимания?… Очевидно, все паши продолжали бы свое обсуждение о мерах взыскания и только молчанием отозвались бы на неуместный вопрос".

При содействии Льва Николаевича открыто было тогда 14 школ, "но, – говорит он, – я так измучился посредничеством, школами и журналом, так тяжела мне стала борьба по посредничеству, так смутно проявлялась деятельность моя в школах, что я заболел более духовно, чем физически, бросил все и поехал в степь к башкирцам: дышать воздухом, пить кумыс и жить животною жизнью".

Остановимся теперь на впечатлениях, вынесенных Толстым из его педагогической деятельности. Несомненно прежде всего, что к своим занятиям он относился не просто как педагог, а как истинный художник. Нечто великое стояло перед его воображением и манило к себе. Каждый ребенок, посещавший его школу, был не только педагогическим материалом, а живым

человеком, душу которого он изучал, чья фигура складывалась в его уме в художественный образ. Припомните, что Толстой рассказывает о своих любимцах Феде и Сене. Читая и перечитывая посвященные им страницы, невольно начинаешь соглашаться с Н.К. Михайловским, заметившим как-то, что в IV томе Полного собрания сочинений Толстого, то есть в статьях, посвященных Ясной Поляне, встречаются художественные перлы, равных которым не найдешь в другом месте. Вот, например, описание ночной прогулки графа Толстого с его учениками.

> “Мы пошли к деревне. Федька все не пускал моей руки, теперь, мне казалось, уже из благодарности. Мы все были так близки в эту ночь, как давно уже не были. Пронька пошел рядом с нами по широкой дороге деревни. “Вишь, огонь еще у Мазановых! – сказал он. – Я нынче в класс шел, Гаврюха из кабака ехал пьяный-распьяный; лошадь вся в мыле, он-то ее ожаривает… Я всегда жалею. Право! за что ее бить?” – “А надысь батя, – сказал Семка, – пустил свою лошадь из Тулы, она его в сугроб завезла, а он спит пьяный”. – “А Гаврюха так по глазам и хлещет… и так мне жалко стало, – еще раз сказал Пронька, – за что он ее бил? Слез да и хлещет”. Семка вдруг остановился. “Наши уже спят”, – сказал он, вглядываясь в окна своей кривой черной избы. “Не пойдете еще?” – “Нет”. – “Пра-ащайте, Лев Николаевич”, – крикнул он вдруг и, как будто с усилием оторвавшись от нас, рысью побежал к дому, поднял щеколду и скрылся. “Так ты и будешь разводить нас – сперва одного, а потом другого?” – сказал Федька. Мы пошли дальше, у Проньки был огонь; мы заглянули в окно: мать, высокая, красивая, но изнуренная женщина с черными бровями и глазами, сидела за столом и чистила картошку; на средине висела люлька; математик 2-го класса, другой брат Проньки, стоял у стола и ел картошку с солью. Изба была черная, крошечная, грязная. “Пропасти на тебя нет! – закричала мать на Проньку. – Где был?” Пронька кротко и болезненно улыбнулся, глядя на окошко. Мать догадалась, что он не один, и сейчас переменила выражение на нехорошее, притворное выражение. Остался один Федька. “У нас портные сидят, оттого свет, – сказал он своим смягченным голосом, – нынешнего вечера прощай, Лев Николаевич, – прибавил он тихо и нежно и начал стучать кольцом в запертую дверь. “Отоприте”, – прозвучал его

тонкий голос среди зимней тишины деревни. Ему долго не отворяли. Я заглянул в окно: изба была большая; с печи и лавки виднелись ноги; отец с портными играл в карты, несколько медных денег лежало на столе. Баба, мачеха, сидела у светца и жадно глядела на деньги. Портной, прожженный ярыга, молодой мужик, держал на столе карты, согнутые лубком, и с торжеством глядел на партнера. Отец Федьки с расстегнутым воротником, весь сморщившись от умственного напряжения и досады, переминал карты и в нерешительности сверху замахивался на них своею рабочею рукой. “Отоприте!” Баба встала и пошла отпирать. “Прощайте! – еще раз повторил Федька, – всегда так давайте ходить”.

Это живое, истинно человеческое, лишенное всякого профессионального педантизма отношение Толстого к ученикам и было для него неиссякаемым источником наслаждения. Он отдавался своему делу со страстью и, быть может, утвердился бы в нем, если бы не эти надоедливые посторонние обстоятельства, стоящие, как известно, всегда на пути всякой деятельности. Препятствия, встреченные графом Толстым, были различны. Они шли, как мы видели только что, и от администрации, и от соседей-помещиков, почему-то подозрительно посматривавших на графа-педагога. Меньше всего виновата крестьянская косность, хотя, разумеется, Толстому приходилось наталкиваться и на нее. Вот пример, довольно характерный в этом отношении:

“…Общество в деревне Подосинках нашло своего учителя и на предложение мое заместить выбранного ими учителя другим объявило, что не нуждается в новом учителе и своим довольно. Учитель этот был отставной дьячок, уже 20 лет занимавшийся обучением детей… Он предложил учить дешевле, чем в других школах… Я посетил эту школу во время ее цветения. Когда мы вошли, все было тихо там; 24 мальчика, сидевшие с вырезными указками чинно вокруг длинного стола, вдруг запели на разные голоса. Во главе всех сидел сын огородника, лет 16-ти, в синем кафтане. Он запевал: “надеющийся на ны”; сосед его, водя указкой по засаленной азбуке, пел: “слова под титлами: ангел, ангельский, архангельский”; и снова начинал: “слова под титлами: ангел и т. д.”; третий: “буки-арцы-аз-бра”; четвертый – “премудрость”. Когда я вошел в избу, они закричали, потом встали. Учителя не было. Я спросил, зачем они встали? Они объяснили, что меня ждали и что

так им было приказано. Я попросил их сесть и продолжать; все начали опять с тех же слов: “надеющиеся”, “слова под титлами” и т. д. Здесь я в первый раз видел классическую старинную школу”.

Мужички, как видно, предпочли своего дьячка потому, что тот обходился им дешевле. Но вообще, повторяю, не эта сторона дела утомила Толстого и заставила его разочароваться.

Как во всем в жизни, Толстой и в педагогической деятельности стремился к грандиозному и даже безусловному. Не обучение грамоте было ему нужно, а воспитание человеческого характера путем любви, свободы и знания. Нищенская программа наших школ была ему противна. Лучшим доказательством того, как верил он в детей и как высоко ценил их дарования, может служить статья из журнала “Ясная Поляна”, озаглавленная: “Кому у кого учиться писать (в смысле творчества): крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?” Оказывается, что и самому графу Толстому было небесполезно “сочинять” вместе с Федькой и Сенькой, то руководя ими, то подчиняясь им. Пусть читатель прочтет эту замечательную статью, краткая передача которой только бы испортила ее, – и он поймет то огромное и безусловное, что увлекало воображение графа Толстого во время его занятий с крестьянскими ребятами.

ГЛАВА VIII. ПИСАТЕЛЬСКАЯ ДРАМА

Никогда раньше Толстой так тесно не сближался с крестьянским миром, как во время своего учительства в Яснополянской школе и мирового посредничества. Каждый день ему приходилось разговаривать с различными “опчествами” или депутатами этих обществ и вести долгие задушевные беседы с крестьянскими ребятами, – беседы, так подробно описанные в IV томе его сочинений. Но это-то сближение и послужило поводом к пересмотру им всех своих культурных теорий с точки зрения простого народа. Здесь-то и скрывается источник той писательской драмы, которая совершилась в 1861 и в 1862 годах и, вновь выплывши на сцену, 20 лет спустя довела Толстого до почти полного отрицания собственной художественной деятельности. Нужно ли народу, то есть массе, то есть, в сущности, всему человечеству, на котором культурные люди являются лишь наслоением, то, что я пишу? – После долгого мучительного анализа Толстой ответил: нет, не надо. Во имя чего я пишу? – задал он себе другой вопрос и опять-таки резко ответил себе: только во имя эгоизма, только во имя самоублажения. Отсюда ясный вывод: писательство – пустяки, потому что оно не нужно массе, и писательство вредно, безнравственно, скверно, потому что оно служит тому же алчному культурному *я.* А ведь смысл жизни в любви, самоотвержении. Влияние Руссо, отмеченное нами еще в годы юности, инстинктивное отвращение к легкой, веселой и распущенной жизни, которую вели петербургские литераторы 50-х годов, преклонение перед молчаливым героизмом севастопольских солдат, страх смерти, придававший всякой мысли и чувству пессимистическое настроение, – все это соединилось воедино, чтобы заставить *писателя* Толстого признать вред *книгопечатания, а художника* Толстого считать бесполезным или прямо вредным *создание художественных произведений.* Есть немало поэтических картин, где скульптор бросает свой резец и разбивает только что оконченную статую, где музыкант разбивает свой инструмент и так далее, но мотивом этого страшного недовольства художника собственным созданием всегда является невозможность достигнуть идеала. Этого мотива не было у Толстого. Его мера – не идеал искусства, а нужда и требование народа. Во имя этой нужды и требований он отрекся от господствовавшей в его время педагогики и от господствовавших в его время взглядов на литературу.

Кажется, Толстой недолюбливал Достоевского, но, право, чем

больше вдумываешься в дело, тем яснее видишь, что у обоих писателей земли русской много и много общего. “Мы все демократы и можем поступать и рассуждать лишь как демократы”, – говорил Достоевский… Он всегда проповедовал любовь, самоотречение, смирение. Он ненавидел легкий взгляд на жизнь, и с его точки зрения выходило, что “жизнь – задача громадная, что житейская борьба сурова, что не для радости живет человек, а для осуществления нравственного идеала, в жертву которому он должен принести свое я”… Правда, у Толстого нет мистической экзальтации и *припадков* творчества, но и его жизнь, как жизнь Достоевского, – постоянные внутренние муки, сомнения, ожесточенная борьба с самим собой, а единственный выход из этой скверной жизни – нравственный долг и народ…

“Для меня очевидно, – писал Толстой в 1861 году, – что расположение журналов и книг, безостановочный и громадный процесс книгопечатания был выгоден для писателей, редакторов, издателей, корректоров и наборщиков. *Огромные суммы народа косвенными путями перешли в руки этих людей.* Книгопечатание так выгодно для этих людей, что для увеличения числа читателей придумываются всевозможные средства: стихи, повести, скандалы, обличения, сплетни, полемика, подарки, премии, общества грамотности, распространения книг и школы для увеличения числа грамотных… Но ежели число журналов и книг увеличивается, ежели литература так хорошо окупается, то, стало быть, она необходима, – скажут мне наивные люди. Стало быть, откупа необходимы, что они хорошо окупались? – отвечу я… *Литература, так же как и откупа, есть только искусная эксплуатация, выгодная только для ее участников и невыгодная для народа…* У нас есть разные журналы, есть сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина. И все эти журналы и сочинения, несмотря на давность существования, неизвестны, не нужны для народа и не приносят ему никакой выгоды. Я говорил уже об опытах, деланных мною для привития нашей общественной литературы народу. Я убедился, в чем может убедиться каждый, что для того, чтобы человеку из русского народа полюбить чтение “Бориса Годунова” Пушкина или “Историю” Соловьева, надо этому человеку перестать быть тем, чем он есть, то есть человеком независимым, удовлетворяющим всем своим человеческим потребностям. *Наша литература не прививается и не привьется народу;* надеюсь – люди, знающие народ и литературу, не усомнятся в этом… Всякий добросовестный судья, не одержимый верою прогресса, признается, что *выгод книгопечатания для народа не было…* Но

скажут, может быть, признавая мои доводы справедливыми, что прогресс книгопечатания, не принося прямой выгоды народу, содействует его благосостоянию тем, что смягчает нравы общества; что разрешение крепостного вопроса, например, есть только произведение прогресса книгопечатания. На это я отвечу, что смягчение нравов общества еще нужно доказать, что я лично его не вижу и не считаю нужным верить на слово. Я не нахожу, например, чтобы отношения фабриканта к работнику были человечнее отношений помещика к крепостному… Главное же, что я имею сказать против такого аргумента, есть то, что, взяв в пример хотя освобождение от крепостного права, я не вижу, чтобы книгопечатание содействовало его прогрессивному разрешению. Ежели бы правительство в этом деле не сказало своего решительного слова, то книгопечатание без сомнения разъяснило бы дело совершенно иначе. Мы видели, что большая часть органов требовала бы освобождения без земли и приводила бы доводы, столь же кажущиеся разумными, остроумными, саркастическими. *Прогресс книгопечатания,* как и прогресс электрических телеграфов, *есть монополия известного класса общества,* выгодная только для людей этого класса, которые под словом “прогресс” разумеют свою личную выгоду, вследствие того всегда противоречащую выгоде народа. Мне приятно читать журналы от праздности; я даже интересуюсь Отгоном, королем греческим. Мне приятно написать или издать статейку и получить по телеграфу известие о здоровье моей сестрицы и знать наверное, какой цены я должен ожидать за свою пшеницу. Как в том, так и другом случае нет ничего предосудительного в удовольствиях, которые я при этом испытываю, и в желаниях, которые я имею, чтобы удобства к такого рода удовольствиям увеличивались, но *совершенно несправедливо будет думать, что мои удовольствия совпадают с увеличением благосостояния всего человечества”*… (Сочинения, т. IV, с. 192 и след.).

В подчеркнутых мною фразах точка зрения Толстого выяснена как нельзя лучше. Я не согласен с ней, как не согласен с тем, что высшая математика бесполезна или вредна лишь потому, что она недоступна пониманию трехлетнего ребенка. Ребенок вырастет. Да, едва ли теперь можно сказать, что “прогресс книгопечатания есть монополия известного класса общества”, а уж если говорить о вреде, то на первый план надо выдвигать *монополию,* а никак не книгопечатание – простое орудие для полезного и вредного, прекрасного и скверного.

Но для меня теперь важна не мысль Толстого, а его настроение, его писательская драма, по поводу которой между прочим считаю нужным напомнить, что впервые она была

подвергнута блестящему анализу в сочинениях Н.К. Михайловского в 1875 году.

Я прошу теперь читателя серьезно вдуматься в душевное состояние писателя, пришедшего к вышеприведенным воззрениям на книгопечатание и литературу, – писателя не ради куска хлеба и не по каким-либо случайным обстоятельствам, а такого, как граф Толстой, то есть писателя по призванию, неудержимо гонимого на литературное поприще избытком творческой силы. Положение истинно трагическое. Граф Толстой совершенно справедливо говорит, что нет ничего предосудительного в желании написать статейку и получить за нее деньги и известность. Но он знает, что этим именно непредосудительным путем “огромные суммы перешли в руки лиц, прикосновенных к литературе и книгопечатанию, что так именно слагается вся литература, эта искусная эксплуатация, выгодная только для ее участников и невыгодная для народа”. Человеку, не напечатавшему во всю жизнь ни одной строки или писательствующему не по внутренней потребности, легко сказать то, что говорит граф Толстой. С другой стороны, есть много людей, совершающих ужасные преступления и тем не менее спокойных душой, потому что их действия для них не суть преступления; они не сознают их преступности. Словом, когда сознание и потребности находятся тем или другим способом в равновесии, жить легко. Граф Толстой, напротив, ясно сознает, что литература есть один из видов эксплуатации народа, и тем не менее участвует в ней, потому что, как вечному жиду таинственный голос не уставал говорить: иди, иди, иди, так и Толстому внутренний голос – голос его богато одаренной натуры – не устает говорить: пиши, пиши, пиши.

Любопытно, однако, проследить и за дальнейшим развитием взглядов Толстого на тот же предмет. В тех же яснополянских статьях он говорит, например:

> “Страшно сказать: я пришел к убеждению, что все, что мы сделали по этим двум отраслям (по музыке и поэзии), все сделано по ложному, исключительному пути, не имеющему значения, не имеющему будущности и ничтожному в сравнении с теми требованиями и даже произведениями тех же искусств, образчики которых мы находим в народе. Я убедился, что лирическое стихотворение, как например “Я помню чудное мгновенье”, произведения музыки, как последняя симфония Бетховена, – не так безусловно и всемирно хороши, как “Песня о Ваньке-ключнике” и напев “Вниз по

матушке по Волге”; что Пушкин и Бетховен нравятся нам не потому, что в них есть абсолютная красота, но потому, что мы так же испорчены, как Пушкин и Бетховен, потому что Пушкин и Бетховен одинаково льстят нашей уродливой раздражительности и нашей слабости”.

Или:

> “Картина Иванова возбудит в народе только удивление пред техническим мастерством, но не возбудит никакого – ни поэтического, ни религиозного – чувства, тогда как это самое поэтическое чувство возбуждено *лубочною картинкой Иоанна Новгородского и черта в кувшине.* Венера Милосская возбудит только законное отвращение пред наготой, пред наглостью разврата – стыдом женщины. Квартет Бетховена последней эпохи представится неприятным шумом, интересным разве только потому, что один играет на большой дудке, а другой на большой скрипке. Лучшее произведение нашей поэзии, лирическое стихотворение Пушкина, представится набором слов, а смысл его – презренными пустяками. Введите дитя народа в этот мир (вы это можете сделать и постоянно делаете посредством иерархии учебных заведений, академий и художественных классов), – он прочувствует и прочувствует искренно и картину Иванова, и Венеру Милосскую, и квартет Бетховена, и лирическое стихотворение Пушкина. Но, войдя в этот мир, он будет дышать уже не всеми легкими, уже его болезненно и враждебно будет охватывать свежий воздух, когда ему случится вновь выйти на него”.

Следует ли из этого, что не надо писать картин Иванова и Рафаэля, а изображать Ивана Новгородского и *черта в кувшине?* В 60-х годах такого вывода граф Толстой еще не сделал, а только резко выставил противоречие, из которого можно сделать, однако, выводы диаметрально противоположные…

Писательскую драму Толстого Н.К. Михайловский объясняет конфликтом его десницы и шуйцы или, проще, старобарскими дрожжами по наследственности, воспитанию и условиям жизни наряду с народническими демократическими симпатиями сердца и выводами разума, причем десница и шуйца никак не могут столковаться между собой. Граф Толстой хотел бы служить народу своим творческим талантом, быть народным писателем,

но “круг его умственных интересов и слишком широк, и слишком узок для роли народного писателя. С одной стороны, он владеет запасом образов и идей, недоступных народу по своей широте и высоте. С другой стороны, он как человек известного слоя общества слишком близко принимает к сердцу мелкие, узкие радости и тревоги этого слоя; слишком ими занят, чтобы отказаться от поэтического их воспроизведения. Забавы аристократических салонов и бури дамских будуаров, несмотря на все их ничтожество, очевидное для самого графа Толстого, очень его интересуют. Эти интересы – новый элемент совершающейся в его душе драмы – мешают ему не только быть народным писателем, но и идти по другому, косвенному пути: к примирению потребности поэтического творчества с сознанием некоторой его греховности…”

Вопрос о косвенных путях и примирении противоречий мы оставим пока в стороне и будем продолжать наш анализ. В приведенных из яснополянских статей отрывках читатель видит перед собой разъедающий скептицизм, упирающийся пока в глухой переулок и заканчивающийся мучительным вопросом: “Что же делать?” Читатель помнит вместе с тем, что этот скептицизм являлся безусловно характерным для Толстого еще в годы его отрочества и юности. Но форма осталась та же самая, сущность же значительно изменилась. Скептицизм отрочества и юности бесцелен и непроизволен; он подкапывается под то или другое положение, не зная – зачем, не спрашивая себя – почему, а лишь повинуясь могучему инстинкту, заложенному природой, и наслаждается при этом собственной своей игрой. У него нет критериума. Поздний скептицизм – другое дело. Он так же остр, так же мучителен и непроизволен, но у него есть уже исходный пункт, есть точка отправления, откуда он совершает свои атаки и вылазки, есть, словом, знамя. Это знамя – народ и народные интересы и вместе с тем невольное страстное желание отделаться от собственной душевной надломленности.

“Я думаю, – говорит тот же Н.К. Михайловский, – что если бы в таком положении мог оказаться человек дюжинный, он покончил бы самоубийством или пьянством… Человек недюжинный будет, разумеется, искать других выходов”.

Но выхода, собственно, Толстой сам не нашел. Его, на некоторое время по крайней мере, выручила жизнь и могучая потребность жизни, инстинкт счастья и наслаждения.

Как это случилось, как удалось Толстому не уничтожить в себе сомнения, а заставить замолчать их на целые пятнадцать лет – мы увидим сейчас же.

ГЛАВА IX. СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

“Вернувшись от башкир, – продолжает свой рассказ Л. Толстой, – я женился. Новые счастливые условия семейной жизни совершенно отвлекли меня от всякого искания общего смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время в семье, детях и потому в заботах об увеличении средств жизни. Стремление к усовершенствованию, подмененное уже прежде стремлением к усовершенствованию вообще, к прогрессу, теперь подменилось стремлением к тому, чтобы мне с семьей было как можно лучше… Несмотря на то, что я считал писательство пустяками, я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже от соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд и предавался ему как средству к улучшению своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей. И я писал, научая тому, что для меня было единой истиной: что надо жить так, чтобы самому с семьей было как можно лучше”.

Толстой вернулся из Самарской губернии прямо в Москву со значительно поправившимся здоровьем и без страха неминуемой смерти от чахотки. Здесь, в Москве, он часто посещал дом д-ра Берса, где были три девушки, дочери хозяина. Выбор Толстого пал на среднюю, Софью Андреевну, хотя, кажется, все три сестры были к нему неравнодушны и всячески старались выказать ему свое расположение. Однажды, например, Толстой, приехав к Берсам, стал рассказывать, что на днях он проигрался в пух и прах за зеленым столом, почему и пришлось ему только что написанную повесть “Казаки” продать Каткову за 1000 рублей. Барышни расплакались, и быть может эти-то слезы окончательно утвердили Толстого в его решимости испытать сладости семейной жизни. Он попросил руки Софьи Андреевны, но ему сначала отказали, потому что не хотели отдавать вторую дочь замуж раньше, чем первую. Однако дело уладилось. Окончательное объяснение Л. Толстого с будущей женой произошло точно так, как это описано в “Анне Карениной” в сцене объяснения Левина с Кити: одними начальными буквами… Это – маленькая странность и вместе с тем маленький легкий штрих в портрете Толстого, подчеркивающий его страсть во всем идти особенной дорогой.

Свадьба была 23 сентября 1862 года. Толстому было 34 года, а его невесте 18. Разница лет несколько велика. Так думал, по крайней мере, сам Толстой, когда писал свой роман “Семейное счастье”. Но его семейное счастье оказалось гораздо более

прочным и устроенным по другой программе, нежели в романе. Это счастье Ростовых, Безуховых, Левина и Кити Щербацкой…

Несколько отрывков из писем к Фету покажут настроение его в первые месяцы и годы после женитьбы. “Я две недели женат, – пишет, например, Толстой от 9 октября 1862 года, – и счастлив, и новый, совсем новый человек…” Или (1863 год): “Теперь я пишу историю пегого мерина (“Холстомер”), к осени думаю напечатать. Впрочем, теперь как писать? Теперь незримы усилия даже зримые и притом я в хозяйстве опять прямо по уши. И Соня со мной. Управляющего у нас нет, есть помощники по полевому хозяйству и постройкам, а она одна ведет контору и кассу. У меня и пчелы, и овцы, и новый сад, и винокурня. И все идет понемножку, хотя, разумеется, плохо, сравнительно с идеалом…” Или (1864 год): “Жена моя совсем не играет в куклы. Вы не обижайте. Она мне серьезный помощник. Мы хозяйствуем понемножку. Я сделал важное открытие, которое спешу вам сообщить. Приказчики, управляющие и старосты есть только помеха в хозяйстве. Попробуйте прогнать все начальство и спать до 10 часов, и все пойдет наверное не хуже. Я сделал этот опыт и остался им вполне доволен…”

Все пока дышит бодростью и радостью жизни. Пусть читатель припомнит кстати и маленькую художественную сценку из “Анны Карениной”, – сценку, очевидно списанную с натуры. Долго казалось Левину его новое состояние и новое счастье неестественным. “За что именно мне такое счастье? Ненатурально, слишком хорошо”, – говорил он Кити, целуя ее руку. Кити думала об этом иначе, по-своему, непосредственно по-женски. “Мне, напротив, чем лучше, тем натуральнее”, – ответила она мужу весьма основательно…

Сомнения не прекратились совсем, но были подавлены “новым состоянием и новым счастьем…” Порядок, заменивший прежнюю распущенность, полное забвение кутежей и карточной игры, усиленные хозяйственные работы, а главное любовь, та любовь, сознавая в себе которую, Левин чувствовал, что “она спасет его от отчаяния и что любовь эта под угрозой отчаяния станет еще сильнее и чище”, многочисленный семейный кружок, наконец, – все это подействовало на Толстого освежающим и обновляющим образом. Он часто говорил, что “он вполне счастлив в семейной жизни и что он нашел не только любящую жену и прекрасную мать, но и помощницу в его литературной деятельности”. Он постоянно посвящал Софью Андреевну во все свои писательские замыслы, думы и чувства. “Она одна умеет собрать и привести в порядок все клочки и бумаги, на которых писались драгоценные строки. Она одна умеет разобрать его в

высшей степени нечеткий почерк и из поспешно сделанных им, вместо целых слов, штрихов и линеек воспроизвести именно то, что мыслил и хотел написать ее муж. Он часто сам удивлялся этому. Она с примерной аккуратностью и бережливостью хранит для потомства все рукописи как изданных, так и неизданных его сочинений…"

Скоро пошли дети… Ощущения отца при рождении первого ребенка прелестно описаны в "Анне Карениной", и мне остается только привести несколько строк из этого описания и напомнить о нем читателю: "Левин знал и чувствовал только, что то, что совершилось, было подобно тому, что совершилось год тому назад… на одре смерти брата Николая. Но то было горе, это была радость… Но и то горе, и эта радость были одинаково вне всех обычных условий жизни, *были в этой обычной жизни как будто отверстия, сквозь которые показывалось что-то высокое.* И одинаково тяжело, мучительно наступило совершающееся, и одинаково непостижимо, при созерцании этого высшего, *поднималась душа на такую высоту, которой она никогда не понимала прежде и куда рассудок не поспевал уже за нею…"*

Семья Л.Н. Толстого с каждым годом становилась многочисленнее и в настоящее время у него, кстати заметить, девять человек детей, из которых пять сыновей. Младший сын родился лишь в 1891 году.

Мы видели, что в юности Толстой увлекался Руссо; привязанность к идеям, особенно педагогическим, великого женевца осталась у него на всю жизнь. Поэтому, между прочим, всех детей выкормила сама мать. Взгляды Руссо применялись везде, где только было возможно. Из детской навсегда были изгнаны игрушки; старались как можно больше лично наблюдать за детьми, а не поручать нянькам или боннам; детям предоставлялась наибольшая свобода; было положено за правило не прибегать ни к насилию, ни к наказанию. Лев Николаевич находил, что принцип детской самостоятельности нигде не применяется так широко, как в Англии. Поэтому дети от трех до восьми или девяти лет поручались молодым англичанкам, которые выписывались прямо из Англии.

"Лев Николаевич, – рассказывает Берс, – любил открывать ребенку его бессилие в природе и зависимость от взрослых, но не с целью запугать, а открыть ему правду. Это делалось иногда в форме шутки и с оттенком ласки.

Когда дети нуждались в прислуге, им запрещалось приказывать. Они должны были просить, прибавляя непременно слово "пожалуйста". Для примера это делалось самими родителями и прочими в семье.

Независимо от сострадания к ближнему, в детях старались развить жалость к животным.

Ложь преследовалась строго и легко могла повлечь за собой наказание. Наказание очень редко проявлялось в каких-нибудь действиях, например, заключение в комнате и т. п.; а выражалось преимущественно в холодном обращении родителей с детьми за их проступки. Вообще наказывали только малых. Как только замечалось раскаяние, наказание немедленно отменялось. У детей никогда не вымогались обещания не повторять проступков и просьбы о прощении их. Откровенность и доверие детей к родителям развивались в них своевременной лаской.

Всем этим руководили сами родители. Наказание детей воспитателям безусловно возбранялось.

Весь взрослый персонал Ясной Поляны обязан был помнить, что дети могут заимствовать все то, что они видят и слышат. Однако детей не удаляли из общества взрослых, если в то время им не следовало идти спать, учиться или т. п.

Поэтому, когда наступало восемь часов вечера и дети уходили спать, сам Лев Николаевич говорил: “Ну, теперь стало свободнее”.

Можно ли было тосковать, да и было ли время тосковать в этом веселом детском мире, да еще среди постоянных забот и хлопот то о покупке пензенского или самарского имения, то о заведении конного завода, то о тысячах хозяйственных мелочей?… А ведь граф Толстой, заметим это между прочим, был прекрасным хозяином. Одна ключница, служившая у него девять лет, рассказывает о нем как о хозяине вот что:

> “Граф сам следил за всем хозяйством и требовал, чтобы у него везде была замечательная чистота: и в коровнике, и в свинарнике, и в овчарне… В особенности он любовался на своих свиней, которых держал до трехсот штук, сидевших парами в отдельных небольших хлевушках… Здесь граф не терпел ни малейшей грязи: каждый день я и мои помощницы должны были перемывать их всех, вытирать пол и стены хлевушек; тогда, проходя по свинарне утром, граф бывал очень доволен и громко приговаривал: “Какое хозяйство… Какое хорошее хозяйство!”… Зато избави Бог, если он заметит хоть малейшую грязь – сейчас рассердится, раскричится… Граф был очень горячий барин, и приезжавший в Ясную Поляну доктор несколько раз говаривал ему при мне: “Вам нельзя так сердиться, граф, это очень вредно для вашего здоровья”… “Не могу, –

> отвечал обыкновенно граф, – и хочу сдержаться, да не могу, такой уж, видно, у меня характер”… Хозяйство давало графу в то время хороший доход: кроме свиней и поросят, у него было восемьдесят коров, пятьсот шленских овец и очень много птицы… Между прочим, мы сбивали отличное сливочное масло, которое продавали в Москву по шестьдесят копеек за фунт…”

При этих постоянных хлопотах где было найти время для сосредоточенной тоски или самоедства духа?

По-видимому, Толстой и не тосковал, и был счастлив, как может быть счастлив человек на нашей планете. Правильная жизнь, значительные успехи по хозяйству, рост семьи, а вместе с этим и рост забот, настойчивая литературная работа, обессмертившая русскую литературу, так как “Война и мир” была написана как раз в этот период, – отвлекали Толстого от того, что было постоянным источником его душевных страданий, от него самого и его эгоизма. И его собственные письма, и воспоминания Берса одинаково изображают его заботливым, жизнерадостным семьянином. Он сам говорит, что в то время руководился правилом, которое одно только казалось ему истинным: делать так, чтобы тебе самому и близким твоим, то есть семье, было как можно лучше.

Ведь это вещь, огромной, неизмеримой важности – как выйти из сферы собственного своего эгоизма, – и горе тому, кто на это совсем не способен. Большинство выходит путем семьи, меньшинство – путем общественной деятельности; лучшее, то есть соединение того и другого выхода, притом соединение гармоническое, так, чтобы семья не мешала обществу, так, чтобы не развился до размеров алчности специфический семейный эгоизм, – это лучшее доступно лишь избранным.

Толстой остановился на первом выходе, и лично для него это было великим счастьем. Он отдохнул от своей душевной надломленности и если не совсем от нее излечился, то лишь потому, что надломленность-то была слишком велика, а выход не такой, который может удовлетворить гениальную и вдумчивую натуру. Выход был самый элементарный.

Но все же эгоизм семейный шире эгоизма личного, а не от этого ли последнего страдал все время Толстой? Он перечисляет все свои грехи – это грехи эгоизма и себялюбия: тут и корыстолюбие, и любострастие, и честолюбие, и властолюбие, и гордость, и гнев, и месть. Он страдает от страха смерти: разве это не прежде всего страх за самого себя, свою личность, для которой смерть есть полное и обидное уничтожение; он

противопоставляет культурных людей и народ: разве это не противопоставление алчной и себялюбивой личности, алчного и себялюбивого *я* природе и молчаливому героизму народа?… Семья вывела Толстого из заколдованного круга его собственной личности, его собственных личных желаний. От своего я он убежал в семейные заботы, воспитание, хозяйство. Всего этого хватило на 15 лет.

За этот пятнадцатилетний период он, повторяю, представляется нам любящим и рачительным семьянином, пишет письма о пшенице и породистых жеребцах, и пишет все это вполне серьезно, потому что без всего этого никак нельзя обойтись, раз хочешь, чтобы тебе и близким твоим было как можно лучше.

Работал он очень много и над литературой, преимущественно зимою, всегда в течение целого дня, а подчас и до поздней ночи. Он никогда не ждал вдохновения и держался того мудрого правила, что стоит сесть работать, и вдохновение само придет. Ежедневно, за самыми редкими исключениями, он садился за стол и писал или изучал источники и материалы. За большие свои вещи он брался всегда лишь после самой тщательной подготовки. Во время работы ему требовалось абсолютное спокойствие. Никто, даже жена, не входил к нему в кабинет, когда он был занят. Одно время такой привилегией пользовалась лишь его старшая дочь, когда была еще ребенком. Знакомых у него всегда было очень мало, так что лишь очень немногие наезжали к нему в Ясную Поляну. К этим немногим принадлежали Н.Н. Страхов (безусловно необходимая принадлежность каждого великого человека или даже псевдовеликого, вроде Н. Данилевского), князь Урусов – математик, А. Фет-Шеншин, поэт-помещик и ожесточенный дворянин в одно и то же время. Уделяя даже своей семье сравнительно немногие часы дня, Толстой всегда бывал весел, добродушен и шутлив.

“Нельзя, – рассказывает Берс, – передать с достаточной полнотой того веселого и привлекательного настроения, которое постоянно царило в Ясной Поляне (1862–1878 годы). Источником его был всегда Лев Николаевич. В разговоре об отвлеченных вопросах, о воспитании детей, о внешних событиях его суждение было самое интересное. В игре в крокет, в прогулке он оживлял всех своим юмором и участием, искренно интересуясь игрой и прогулкой. Не было такой простой мысли и самого простого действия, которым бы Лев Николаевич не умел придать интереса и вызвать к ним хорошего и веселого отношения в окружающих…

Подчиняясь его влиянию и настроению, дети без затруднения

совершали с ним длинные прогулки, например, верст в 15. Мальчики с восторгом ездили с ним на охоту с борзыми собаками. Все дети спешили на его зов, чтобы делать с ним шведскую гимнастику, бегать, прыгать… Зимою все катались на коньках, но с большим еще удовольствием расчищали каток от снега. Со мной он косил, веял, делал гимнастику, бегал вперегонки и изредка играл в чехарду. В это время он всегда смеялся. Когда нам случалось проходить там, где косили, он непременно подойдет и попросит косу у того, кто казался наиболее уставшим. Я, конечно, следовал его примеру. При этом он всегда объяснял мне вопросом: “Отчего мы, несмотря на хорошо развитую мускулатуру, не можем косить целую неделю подряд, а крестьянин при этом еще и спит на сырой земле, и питается *одним хлебом?”* – “Попробуй-ка ты так!” – заключал он”.

С семьей граф Л.Н. Толстой не любил расставаться ни на один день, всегда сетовал на неотложные поездки и торопился как можно скорее вернуться домой.

ГЛАВА X. БОЛЬШИЕ РОМАНЫ

Мысль о большом цельном произведении, которое отразило бы в себе не момент настроения эпохи, а ее всю, появилась у Толстого очень давно, еще в 50-х годах. Его “Детство”, по замыслу того времени, должно было составить первую часть, “Отрочество” – вторую, “Юность” – третью и наконец “Зрелый возраст” – четвертую. Но эту свою мысль Толстой осуществил лишь наполовину: у него остался незаконченным даже рассказ о юности, лучшую и счастливейшую пору которой он обещал описать впоследствии, но так и не описал. Больших романов у Толстого только два: “Война и мир” и “Анна Каренина”. Они написаны в пятнадцатилетний период, который может быть назван периодом “семейного счастья”.

Впрочем, как этим эпитетом, так и вообще полным внешним благополучием жизни Л.Н. Толстого особенно увлекаться не следует. В его натуре лежит источник внутренних непримиримых противоречий – душевная надломленность поколений, а не только его самого. Удач и счастья, выпавших на его долю, смело бы хватило на десять обыкновенных смертных; его литературный талант смело перевесит всю совокупность литературных талантов современности; его слава могла бы удовлетворить самого Наполеона – эту ненасытную, воплощенную жажду славы, а доволен ли он и был ли он доволен когда? Для людей, которые не могут, несмотря ни на что, признать законность личного счастья, видя перед собой несчастье других, счастья и довольства на земле нет. Но эти люди и являются светочами мира. Чтобы избегнуть как-нибудь проклятых и мучительных вопросов, они могут закрывать свои проницательные – я бы сказал даже пронзительные – глаза разными шорами: эгоизмом личным и эгоизмом семейным, смирением и непротивлением. увы, однако… печать Каина не сходила с чела гениев, как красиво выражается Брандес, особенно в те эпохи, когда жизнь кишит обидными и преступными противоречиями.

Были ли описаны когда-нибудь муки великой и пытливой души? Фауст? Прометей? Чайльд Гарольд? Манфред? Демон? – Да, все это – гениальные попытки описать муки великой и пытливой души, но во всех этих попытках есть один недостаток: они слишком общи. Действительность не мучает, а терзает, колет не ножом, а булавками, насылает на Прометеев не коршуна, а мириады маленьких и злых насекомых, и самые великие и пытливые души не столько страдают, сколько грустят… Грусть как сконцентрированное страдание, как скверный осадок всех

жизненных впечатлений никогда не покидала Толстого. Строго говоря, все написанное им невыразимо грустно: грустны и “Севастопольские рассказы”, и удивительный перл “Три смерти”, и “Война и мир”, и “Анна Каренина”. Как древние пророки, Толстой является в нашем обществе “с грустным и строгим лицом”. Его признания – разве это не плач Иеремии?…

Но мы еще успеем подробно ознакомиться со всем этим; пока же только один маленький вопрос: как бы мог довольный человек в разгаре семейного благополучия увлекаться Шопенгауэром? А между тем Толстой увлекается им, окруженный семьею и на вершине доступной человеку славы. Вот что 30 августа 1869 года он пишет, например, Фету: “Знаешь ли, что было для меня нынешнее лето? Неперестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал… Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр – гениальнейший из людей… Читая его, мне непостижимо, каким образом может оставаться имя его неизвестным. Объяснение только одно – то самое, которое он так часто повторял, что кроме идиотов на свете почти никого нет”…

Пессимистические мотивы никогда не замолкали в душе Толстого: они таились в глубине, а когда показывались наружу, то едва не доводили его до самоубийства. Скрытый, маскирующий себя пессимизм мы увидим и в “Войне и мире”…

Переходим к нему. Как создавался этот роман? Прежде всего несомненно в обстановке самой счастливой по внешности. Толстой принялся писать его немедленно после женитьбы, на лоне природы, счастливым мужем и удачливым хозяином. На работу пошло больше пяти лет; роман переделывался и переписывался *семь* раз. Можно преклониться перед таким терпением и трудом, но кроме счастья творчество приносило художнику и много мук:

“Я тоскую и ничего не пишу, – говорит Толстой в письме к Фету от 17 ноября 1864 года, – а работаю мучительно. Вы не можете себе представить, как мне трудна эта предварительная работа глубокой пахоты' того поля, на котором я принужден сеять. Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения очень большого, и обдумать миллионы возможных сочинений для того, чтобы выбрать из них одну миллионную – ужасно трудно…”

Но все же в творчестве скрыто громадное счастье – сознание своей силы – и всякий истинный художник понимает его.

“Я, – пишет Толстой позже, – довольно много написал своего романа нынешнюю осень. Ars longa, vita brevis,[10] – думаю я каждый день. Коли можно бы было успеть $^{1}/_{100}$ долю исполнить

того, что понимаешь, но выходит только $^1/_{1000}$ часть. Все-таки это сознание, что *могу,* составляет счастье нашего брата. Я нынешний год с особенной силой его испытываю”.

Или:

> “А знаете, какой я Вам про себя скажу сюрприз: как меня стукнула об землю лошадь и сломала руку; когда я после дурмана очнулся, я сказал себе, что я литератор. На днях выйдет 1-я половина 1-й части 1805 года. Пожалуйста, подробнее напишите свое мнение. Ваше мнение, да еще мнение человека, которого я не люблю, тем более, чем более я вырастаю большой, – мне дорого, – Тургенева. Он поймет. Печатанное мною прежде я считаю только пробой пера, печатаемое теперь мне хотя и нравится более прежнего, но слабо, кажется, без чего не может быть, вступление. Но что дальше будет, – беда!.. Напишите, что будут говорить в знакомых Вам различных местах, и главное, как на массу. Верно, пройдет незамеченным. Я жду этого и желаю – только бы не ругали, а то ругательства расстраивают!.. Я рад, что Вы любите мою жену; хотя я ее люблю меньше моего романа, а все-таки, Вы знаете, жена!”

От 27-го июля 1867 года. “На днях я приехал из Москвы и предпринял строгое лечение под руководством Захарьина, и главное печатаю роман в типографии Риса, готовлю и посылаю рукопись и корректуры, и должен так день за день под страхом штрафа и несвоевременного выхода. Это и приятно, и тяжело”.

Я привел все документы, которые сохранились лично от Толстого по поводу написания им “Войны и мира”. И писался, и печатался роман очень долго. Первый его том появился в 1867, последний – в 1869 году.

Кажется, ни об одном из произведений русского автора, за исключением разве “Отцов и детей” Тургенева, не писали так много, как о “Войне и мире”, и, что особенно странно, большинство писавших писали хорошо, недурно по крайней мере. “Гений, – говаривал, улыбаясь, Гете, – разводит громадные костры: из них нетрудно утащить по головешке”.

“Войну и мир” серьезно сравнивать можно лишь с “Илиадой”. И там, и здесь перед нами картина борьбы за существование, за жизнь целого народа; и там, и здесь народные массы не сходят со сцены. Всегда и везде вы чувствуете их присутствие, всем ходом событий руководят они. Теория войны, философско-исторические взгляды Толстого, судьба его главных действующих лиц

определены и обусловлены народом. У народа свои представители и выразители: главных из них два – Кутузов и Платон Каратаев.

Толстой идеализирует Кутузова. Это интересно для историка, но нисколько не интересно для нас. Нам важно определить, почему Толстой идеализирует Кутузова и как, с какой точки зрения он делает это?… Кутузов поднимает народный дух и повинуется ему. В этом вся его заслуга.

“В 12-х и 13-х годах, – пишет Толстой, – Кутузова прямо обвиняли за ошибки”. “Такова судьба не великих, не grands hommes,[11] которых не признает русский ум, а судьба тех редких, всегда одиноких людей, которые, *постигая волю Провидения, подчиняют ей свою личную волю.* Ненависть и презрение толпы наказывают этих людей за признание высших законов”. Толстой поражен, как это для русских историков Наполеон может быть предметом восхищения, а “Кутузов – тот человек, который от начала до конца своей деятельности в 1812 году, от Бородина и до Вильны, ни разу, ни одним действием, ни словом не изменяя себе, *являет необычайный в истории пример самоотвержения,* представляется им чем-то неопределенным и бледным, и, говоря о Кутузове и 12-м годе, им всегда как будто немножко стыдно” (ч. VII, с. 256).

Народные-то черты характера, то есть покорность воле Провидения и ходу событий, самоотречение, отсутствие личного требовательного тщеславия, – вот что Толстой отмечает в Кутузове, вот за что он возвеличивает его.

Кутузов, в сущности, тот же Каратаев, но в мундире генералиссимуса.

“Кутузов, – продолжает Толстой свою восторженную характеристику, – никогда не говорил о веках, которые смотрят с высоты пирамид, о жертвах, которые он приносит отечеству; он вообще ничего *не говорил о себе, не играл никакой роли,* казался всегда самым простым и обыкновенным человеком и говорил самые простые и обыкновенные вещи”.

Кутузов “верит по-народному, признавая две главные силы – время и терпение”; он молчалив, по-видимому уступчив, на самом деле несокрушим; он не признает того, чего он сам хочет, а признает нечто высшее – волю народа. “Источник этой необычайной силы прозрения в смысл совершающихся событий лежал в том народном чувстве, которое он носил в себе во всей чистоте и силе его”… “Простая, скромная и потому истинно-величественная фигура эта не могла улечься в ту лживую форму европейского героя, мнимо управляющего людьми, которую придумала история”.

Кутузов, то есть Кутузов “Войны и мира”, знает, что *нельзя* управлять людьми, нельзя создавать события, *нельзя* одерживать победы при помощи диспозиций, тактики и стратегии. Во время сражения важна не численность солдат, не планы и распоряжения, а *дух* войска, то есть способность каждого солдата к полному самоотречению и самозабвению, а во время народной войны важна воля народа, его дух, его готовность к полному самоотречению. Зная за собой эту силу, Кутузов отказывается от всяких переговоров с Наполеоном, *знает,* что Бородинская битва – победа, *убежден* до конца, что он победит, что он не может не победить и не выгнать французов из России.

Повторяю, Кутузов – это Каратаев в фельдмаршальском мундире. Каратаев такой выразитель народа, но выразитель гораздо более темный, бессознательный. Он – частица земли-матери, народной массы и вместе с тем воплощение молчаливого, смиренного народного героизма. Толстой, очевидно, восхищается Каратаевым и прежде всего его бессознательностью. Он пытается даже возвести это качество в историко-философский и нравственный принцип и говорит: *“Только одна бессознательная деятельность приносит плоды,* и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. *Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью”.* В другом месте, заметим кстати, Толстой по тому же поводу выражается еще решительнее: “Если, – читаем мы, – допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, то уничтожается самая возможность жизни”. Итак, нужен инстинкт, бессознательность, и с этой точки зрения выше Каратаева ничего и быть не может. Прежде всего, в Каратаеве совсем нет его самого, нет его собственной личности. Все это взяли себе и растратили другие. В солдаты он попал не по очереди, за брата; жил и служил он не для себя, а для исполнения приказаний; застрелили его французы как собаку, и он ни словом, ни движением не мог и не умел возразить против этого. В плену, в казарме, в жизни вообще он всегда доволен, всегда радостен, приветлив, ласков. Он любит всех, одинаково ко всем привязывается, одинаково спокойно со всеми расстается. Он не то чтобы фаталист, а просто органически не признает, чтобы один отдельный человек мог что-нибудь сделать, играть какую-нибудь роль в жизни, управлять событиями. Он знает, что он, Платон Каратаев, весь целиком в руках чего-то грозного, могучего, всесильного. Это грозное, могучее, всесильное – жизнь. “Каждое его слово и каждое его действие было проявлением неизвестной ему, Платону Каратаеву, деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела

смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал в себе”… Таков Платон Каратаев, который был таким же проявлением народного духа, как Кутузов выражал народную волю. Оба послушные орудия стихийного, неотразимого, огромного – народной массы и жизни миллионов…

Сознать и почувствовать в себе народный дух, слить себя с массой, растворить свою личность в этой массе, растворить ее без остатка, точно сахар в воде, – это и есть доступное и достижимое человеческое счастье. Платону Каратаеву оно досталось сразу, органически, как зеленый цвет траве, как запах цветку. Интеллигенту во имя этого растительного счастья надо страдать, искать, терпеть. Так страдал, искал, терпел Пьер Безухое. И что же он нашел? Невыразимую сладость смирения и лишений и непосредственной жизни *без своей воли.* Вот, словами Толстого, что нашел Пьер Безухов:

> “Он долго в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собою, того, что так поразило его в солдатах в Бородинском сражении, – он искал этого в филантропии, масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, в геройском подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе; он искал этого путем мысли, и все эти искания и попытки – все обманули его. И он, сам не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собою только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве. Те страшные минуты, которые он переживал во время казни, как будто навсегда вытеснили из его воображения и воспоминания тревожные мысли и чувства, прежде казавшиеся ему важными. Ему не приходило и мысли ни о России, ни о войне, ни о политике, ни о Наполеоне. Ему очевидно было, что все это не касалось его, что он не призван был и потому не мог судить обо всем этом. “России да лету – союзу нету”, – повторял он слова Каратаева, и эти слова *странно* успокоили его.
>
> И здесь, то есть в плену, в грязном балагане, теперь только в первый раз Пьер вполне оценил наслаждение еды, когда хотелось есть; питья, когда хотелось пить; сна, когда хотелось спать; тепла, когда было холодно; разговора с человеком, когда хотелось говорить и послушать человеческий голос. Удовлетворение потребностей – хорошая пища, чистота, свобода – теперь, когда он был лишен всего этого, казались Пьеру

совершенным счастием, а выбор занятия, то есть жизнь, теперь, когда выбор этот был так ограничен, казался ему таким легким делом, что он забывал то, что избыток удобств жизни уничтожает все счастие удовлетворения потребностей, а большая свобода выбора занятий, – та свобода, которую ему в его жизни давали образование, богатство, положение в свете, – что эта-то свобода и делает выбор занятий неразрешимо трудным и уничтожает самую потребность и возможность занятия".

Но довольно иллюстраций, ибо все понятно и без них. Историко-философские взгляды Толстого и нравственные выводы ясны. Человек не значит ничего. Надо отречься от себя и зажить бессознательной инстинктивной жизнью *их,* то есть массы и Платона Каратаева. Только тогда возможна полнота жизни, а значит и полнота счастья. Интеллигент несчастлив потому, что он слишком раздувает свое *я,* слишком большую роль приписывает ему, слишком много заботится о нем, создает в своем воображений героев, *будто бы* управляющих людьми, *будто бы* руководящих событиями, и сам хочет быть героем, то есть играть роль, управлять людьми, руководить событиями. Это – глупое, преступное желание. Человеческое *я* не сила, а лишь призрак силы. Сила не в нем, – в чем же? "Только допустив бесконечно малую единицу для наблюдения– дифференциал истории, то есть однородные влечения людей, и достигнув искусства интегрировать (брать суммы бесконечно малых), мы можем подняться на постигновение законов истории". Сила истории, следовательно, интеграл, то есть сумма бесконечно большого числа бесконечно малых, то есть перепутывающихся между собой желаний и стремлений людей.

С этой точки зрения оправдывается все, ибо как можно не оправдывать какую бы то ни было потребность и сумму этих потребностей. И Толстой действительно оправдывает все – и кровавое движение народов с запада на восток и с востока на запад. Он обличает лишь претензии культурных людей на управление себе подобными, событиями и их веру в разум.

К общему смыслу "Войны и мира" мне еще придется вернуться. Пока же замечу, что изложенная выше философия есть философия чисто пессимистическая, но лишь в отношении личности. Я могу говорить: "Вся жизнь не имеет смысла, цели, значения, а значит и моя личная жизнь не имеет смысла, цели и значения". Это полное отрицание. Или я могу говорить: "Лично я – ничто и ничего не значу, мой разум – ничто и ничего не значит; я и разум кое-что и значат что-то, когда они подчинены высшему

началу, то есть всей жизни, и исчезли в ней, как – по верованию индийца – отдельная душа исчезает в Парабраме". Последнее и утверждает Толстой.

Но откуда это, зачем это, зачем такая полнота самоотречения, откуда такая прелесть растительной жизни?

Мы уже достаточно следили за тем, как искал, колебался, отчаивался граф Толстой. Перед его острым, разъедающим анализом не устояло ничто. Про его героев замечено как-то, что они "с освещенными внутренностями", но таким он был и сам для себя всегда, каждую минуту жизни. Он постоянно прислушивался к себе, постоянно смотрел на жизнь в лупу, различал все ее неровности и шероховатости, так же как и свои собственные, и к чему же другому мог он прийти, как не к полному отрицанию не только земных радостей, но даже и законности художественного творчества? Болезненно чуткий и впечатлительный, он не мог найти, чем бы ему удовлетвориться, на чем бы ему успокоиться. Ничтожество и бессмыслица всего пугает и отталкивает его. Он прямо говорит: *"Ежели человек пытается понять историческое событие (то есть жизнь), он поражается бесплодностью". Ясно,* значит, что источник страдания – разум человеческий и личный требовательный эгоизм. Еще яснее, что надо уничтожить источник – и страдания не будет. Отсюда философия "Войны и мира".

Припомню еще одно место из этого романа: "Все люди, – читаем мы, – представлялись Пьеру солдатами, *спасающимися от жизни:* кто честолюбием, кто картами, кто писанием романов, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто вином, кто государственными делами. Только бы не видать ее, эту страшную ее"… и из-за пессимистической безличной философии "Войны и мира" действительно не видать ее, эту страшную ее… Исчезает даже страх смерти, потому что я ничего не значу и ничего от смерти не теряю. А богатство, слава, привязанности, друзья?… Да ведь с этой точки зрения о потере их нечего даже и думать.

Личная жизнь тягостна, неразрешимо страшна. Человек боится утерять что-нибудь лишь потому, что он любит себя, что он считает себя *чем-то*… А если он просто дифференциал истории, неведомо кем интегрируемый и лишь в интегрированном своем состоянии производящий то, что называется историей, то не страшна и самая смерть…

Определивши, что человек может или, вернее, чего он не может делать, Толстой указывает и на то, что он должен делать. Его долг – самоотречение и подчинение массовой жизни. Но в массе преобладает инстинкт, бессознательное, и этот инстинкт,

это бессознательное сильнее всего, лучше всего. Женщина, с этой точки зрения, прежде всего мать, детопроизводительница; такой и является в конце концов поэтическая вначале фигура Наташи Ростовой; семейная жизнь – назначение человека. С могучей диалектической силой Толстой разрешает все вопросы, которые тревожили и мучили его, и свой страх смерти кладет к ногам своей системы и старается задавить его ее огромною логическою тяжестью… Система прекрасна как создание высокого творческого духа; в ее холодных, безжалостных выводах в каждую минуту различаете живое биение живого человеческого сердца. Но, Боже мой, какое это измученное, какое это исстрадавшееся человеческое сердце, с каким ужасом заглядывает оно в грядущую могилу, как страстно ждет покоя и забвения, лишь бы стереть с себя печать Каинову. Два источника были всегда у человека, чтобы забыть эту страшную ее и ее роковую загадку: один – увеличивает наслаждения, другой – уменьшает страдания. Но желания – как соленая вода, – сказал Будда: чем больше пьешь, тем больше хочется. Толстой пришел к тому же и на небытии отдельной человеческой личности строит свою систему. Он не останавливается ни перед чем и отнимает у человека даже религию, потому что религия дает человеку сознание своего я… Рассказывают, что Достоевский, прочтя “Войну и мир”, ограничился лишь словами: “Рече безумец в сердце своем: несть Бог”. Может ли удовлетворить кого-нибудь эта стройная и прекрасная философская система?

Вопрос громадный, я дам на него самый скромный ответ: она совершенно не удовлетворяла самого Толстого, и он отрекся от нее со всей горечью раскаяния.

Что же касается самого романа, то его будут еще изучать целые поколения. Это единственная народная эпопея, которая есть у нас и для нас ее смысл так же важен, как для англичан смысл драм Шекспира.

После “Войны и мира” Толстой рассчитывал написать роман из эпохи Петра Великого, но, проработав над изучением материалов несколько лет, бросил свой замысел.

В письме из Ясной Поляны от 19 ноября 1872 года графиня Толстая писала брату:

> “А теперь у нас очень, очень серьезная жизнь. Весь день в занятиях. Левочка сидит, обложенный кучею книг, портретов, картин, и нахмуренный читает, делает отметки, записывает. По вечерам, когда дети ложатся спать, рассказывает мне свои планы и то, что он хочет писать; иногда разочаровывается, приходит в грустное

отчаяние и думает, что ничего не выйдет, иногда совсем близок к тому, чтобы работать с большим увлечением; но до сих пор еще нельзя сказать, чтобы он писал, а только готовится. Выбрал он время Петра Великого…”

В другом письме графини из Ясной Поляны от 19 декабря 1872 года читаем:

> “Все мы очень заняты. Зима – это наша барская рабочая пора, и стоит она летней мужицкой работы! Левочка все читает из времен Петра Великого исторические книги и очень интересуется. Записывает разные характеры, черты, быт народа и бояр, деятельность Петра и прочее.
>
> Сам он не знает, что будет из его работы, но мне кажется, что он напишет опять подобную “Войне и миру” поэму в прозе, но из времен Петра Великого…”

В третьем письме из Ясной Поляны от 23 февраля 1873 года идет речь о том же:

> “Левочка все читает и пытается писать, а иногда жалуется, что вдохновения нет, а иногда говорит, что недостаточно подготовлен, и все больше и больше читает материалы из Петра Великого…”

Любопытные подробности об этом мы находим в “Воспоминаниях” Берса.

> “Летом 1873 года Лев Николаевич прекратил изучение этой эпохи. Он говорил, что мнение его о личности Петра I диаметрально противоположно общему, и вся эпоха эта сделалась ему несимпатичной. Он утверждал, что личность и деятельность Петра I не только не заключали в себе ничего великого, а напротив того, все качества его были дурные… Все так называемые реформы его отнюдь не преследовали государственной пользы, а клонились к личным его выгодам.
>
> Вследствие нерасположения к нему бояр за его нововведения, Петр основал город Петербург только для того, чтоб удалиться и быть свободнее в своей безнравственной жизни. Сословие бояр имело тогда большое значение и, следовательно, было для него опасно. Нововведения и реформы почерпались из Саксонии, где законы были самые жестокие того

времени, а свобода нравов процветала в высшей степени, что особенно нравилось Петру I. Этим объяснял Лев Николаевич и дружбу Петра I с курфюрстом Саксонским, принадлежавшим к самым безнравственным личностям из числа коронованных особ того времени. Близость с пирожником Меншиковым и беглым швейцарцем Лефортом он объяснял презрительным отвращением к Петру I всех бояр, среди которых он не мог найти себе друзей и товарищей для разгульной жизни. Но более всего он возмущался гибелью царевича Алексея"…

Одинаково неудачна была попытка написать роман из эпохи декабристов. Толстой два раза, с двенадцатилетним промежутком, принимался за него, но дальше 4-й главы не пошел.

"Декабрьский бунт он изучал при лучших условиях. Он пользовался не только тем, что об этом напечатано, но и множеством фамильных записок, мемуаров и писем, которые поверялись ему с условием сохранить семейные тайны. Зимою 1877/78 гг. он ездил в Петербург осмотреть Петропавловскую крепость…

В семейном кругу он рассказывал, что звуковая азбука, существующая в тех местах заключения, впервые создана декабристами. Когда им запрещались переговоры и таким способом, они доходили до такого искусства, что делали это на ходу, например, стуча палочкой о заборы, чего стража не замечала. Между прочим, Лев Николаевич со слезами на глазах рассказывал, как один декабрист, заключенный в крепости, упросил сменявшегося часового купить ему яблоко и дал последние деньги. Часовой принес прелестную корзину фруктов и деньги назад. Оказалось, что посылал это купец, когда узнал о личности заключенного. Декабрист, полковник кавалергардского полка Лунин, удивлял Льва Николаевича своею несокрушимою энергиею и сарказмом. В одном из писем с каторги к своей сестре, находившейся в Петербурге, он осмеял назначение министром графа Киселева. Письмо, разумеется, шло через начальство работ, и содержание его сделалось известным в Петербурге. Лунин был прикован к тачке навсегда. Тем не менее смотритель каторжных работ, полный майор и немец по происхождению, ежедневно уходил с осмотра работ, долго смеясь еще по дороге. Так умел Лунин насмешить

его под землею и прикованный к тачке.

Но вдруг Лев Николаевич разочаровался и в этой эпохе. Он утверждал, что *декабрьский бунт есть результат влияния французской аристократии,* большая часть которой эмигрировала в Россию после французской революции. Она и воспитывала всю русскую аристократию в качестве гувернеров. Этим объясняется, что многие из декабристов были католики. Если *все это было привитое и не создано на чисто русской почве, Лев Николаевич не мог этому симпатизировать".*

Об "Анне Карениной", написанной в тот же пятнадцатилетний промежуток времени, я распространяться не буду, так как это завело бы меня слишком далеко, и расскажу только маленький, относящийся к внешней истории романа эпизод. Роман печатался, как известно, в "Русском вестнике", и когда дело дошло до 8-й части, то Катков отказался поместить ее в том виде, в каком она была ему прислана. В этой 8-й части Толстой высказал на добровольческое движение взгляд, диаметрально расходившийся с проповедью "Русского вестника", inde irae[12] Каткова. Катков предложил переделать. Толстой пришел в страшное негодование за поправки и говорил по этому поводу: "Как смеет журналист переделывать хотя одно слово в моих произведениях"… С этой поры он прервал всякие сношения с "Русским вестником" и его произведения стали появляться или прямо отдельными изданиями, или в других журналах.

Вернемся, однако, к подробностям и мелочам жизни Толстого. "Война и мир" сразу поставила Толстого в первый ряд русской литературы, и равными ему по славе были только Тургенев, Достоевский, Щедрин и Островский. Литературная слава была ему приятна, и он с удовольствием говорил, что "хотя и не заслужил генерала от артиллерии, зато стал генералом от литературы". А генералом он действительно стал, и притом подлинным, несомненным. Это питало его гордость и даже тщеславие, в чем он сам всегда искренно сознавался. По словам Берса, "он был завзятый аристократ и хотя всегда любил простой народ, но еще более любил аристократию. Середина между этими сословиями была ему несимпатична. Когда после неудач молодости он приобрел громкую славу писателя, он высказывал, что эта слава – величайшая радость и большое счастье для него. По его собственным словам, в нем было приятное сознание того, что он – писатель и аристократ"… Оставляю за Берсом ответственность за точность передачи мнений Толстого; думаю, однако, что он несколько преувеличил дело.

Несколько отрывков из собственных писем Толстого к Фету, помещенных во 2-м томе “Воспоминаний” последнего, обрисуют нам как нельзя лучше мелочи и не мелочи жизни Толстого почти за 11 лет.

От 21 октября 1869 года: “Покупка мною пензенского имения разладилась. Шестой том (Полного собрания) я окончательно отдал и к 1-му ноября, верно, выйдет. Для меня теперь самое мертвое время: не Думаю и не пишу и чувствую себя приятно глупым”.

От 4 февраля 1870 года: “Я очень много читаю Шекспира, Гете, Пушкина, Гоголя, Мольера – обо всем этом многое хочется сказать. Я нынешний год не получаю ни одного журнала и ни одной газеты и нахожу, что это очень полезно”…

Кстати заметим, Толстой вообще не любит ни газет, ни журналов. Когда его спрашивают: “что читать?”, он отвечает: “классиков”. К классикам он причисляет и Пушкина. Пушкина он любит, но лучшими его произведениями считает прозаические, особенно “Капитанскую дочку”. Между собой и Пушкиным он видит, между прочим, различие в том, что последний, описывая какую-нибудь художественную подробность, делает это легко и не заботится, будет ли она понята читателем; он же, Толстой, как бы пристает к читателю с этой подробностью и не оставляет ее, пока ясно ее не растолкует. О Гете Толстой писал Левенфельду: “Боже правый! Да в том-то и заключается недостаток Гете, что, думая о прекрасном, он забывает о нравственном, а без него нельзя”. *Нравственный* элемент Толстой считает необходимой принадлежностью всякого великого произведения. Вот его подлинные слова, обращенные к тому же Левенфельду: “Посмотрите, какую громадную роль играет нравственный элемент в произведениях всякого великого поэта. Недавно один молодой ученый отчетливо показал, как глубоко был проникнут Лермонтов нравственными идеалами”.

От 17 февраля 1870 года: “Всю зиму наслаждаюсь тем, что лежу, засыпаю и играю в безик, хожу на лыжах, на коньках бегаю и больше все лежу в постели больной, и лица драмы или комедии (только что прочитанных) начинают действовать и очень хорошо представляют”.

От 11 мая 1870 года: “Я получил ваше письмо, возвращаясь потный с работ топором и заступом, значит за 1000 верст от всего искусственного и в особенности от нашего дела. Я только что отслужил неделю присяжным, и это было для меня очень интересно и поучительно”.

От 2 октября 1870 года: “Я с утра до ночи учусь по-гречески. Я ничего не пишу, а только учусь. Я прочел Ксенофонта и теперь à

livre ouvert[13] читаю его. Для Гомера же нужен лексикон и немного напряжения. Но как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь. Во-первых, я наслаждаюсь, во-вторых, убедился, что из всего истинно прекрасного и просто прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал; в-третьих, тому, что я не пишу и писать дребедени многословной никогда не стану. И виноват, и, ей-Богу, никогда не буду".

От 10 июня 1871 года: "Я был и есть болен, сам не знаю чем, но похоже что-то на дурное или хорошее, смотря по тому, как называть конец. Упадок сил, и ничего не нужно кроме спокойствия, которого нет. Жена посылает меня на кумыс".

От 18 июля 1871 года: "Сам не знаю, насколько я нездоров, но нехорошо уже то, что принужден и не могу не думать о моем боке или груди. Я, как следует при кумысном леченьи, с утра до вечера пьян, потею и нахожу в этом удовольствие. Читаю Геродота. Край здесь прекрасный, по своему возрасту только что выходящий из девственности, по богатству, здоровью и в особенности неиспорченности народа. Я, как всегда, примериваюсь, не купить ли имение. Это мне занятие и лучший предлог для узнания настоящего положения края".

Кумыс, как и первый раз, поправил Толстого, и, возвратившись из Самары, он вновь открыл школу и вернулся к своим педагогическим занятиям. В это время он написал свою знаменитую "Азбуку" и хрестоматию для детей и народа, куда, по своей обычной привычке, поместил много автобиографического. Здесь он рассказал о своих собаках Мильке и Бульке, о том, как его едва не задрал медведь на охоте и как он едва не попал в плен на Кавказе. В 1873 году лечение кумысом пришлось повторить. В Самарской губернии в это время свирепствовал страшный голод, официально, однако, непризнанный. Толстой энергично принялся за дело, составил подворную опись и результат своих наблюдений изложил в "Московских ведомостях". Против графа Толстого и Каткова губернатор, конечно, не пошел и не возражал, – пришлось согласиться с фактом и принять меры.

Письмо о самарском голоде очень интересно, хотя не столько по содержанию, сколько по форме. Толстой остается верен себе. Ни одной жалкой, бьющей по нервам фразы, ни одного упрека никому, но факты изложены так ярко, что вчуже страшно становится. Именно своей простотой, за которой видно глубокое впечатление, полученное автором от нечеловеческих страданий несчастных башкир, письмо должно было произвести потрясающее впечатление. Пожертвования посыпались, и в данном случае несомненно, что один Толстой, сам, своим собственным влиянием, спас от голодной смерти сотни и тысячи

людей. До него молчали все; власти докладывали, что все благополучно, и “на Шипке”, как всегда, “все было спокойно”.

В 1873 году была начата “Анна Каренина” – роман, заключающий в себе собственно два отдельных произведения: историю любви Карениной и историю духовного возрождения Левина. Оба произведения решительно ничем между собой не связаны. Левину Толстой придал много черт и черточек личного своего характера. Кое-какими подробностями история любви Левина напоминает историю любви самого Толстого; например, сцена объяснения в любви, препятствия к браку, радости семейной жизни. В нижеследующих письмах самого Толстого, взятых из тех же воспоминаний Фета, читатель найдет несколько подробностей о создании романа. Вот эти письма:

24 *марта 1874 года:* “Вы хвалите Каренину. Мне очень приятно, да и, как я слышу, ее хвалят, но, наверно, никогда не было писателя, столь равнодушного к своему успеху, как я. С одной стороны, школьные дела, с другой – страшное дело – сюжет нового писания, овладевший мною именно в самое тяжелое время болезни ребенка, и самая эта болезнь, и смерть!”

24 *июня 1874 года:* “Смерть тетушки, как и всегда смерть близкого дорогого человека, была совершенно новым, единственным и неожиданным поразительным событием. Чудесная жара, купанье, ягоды привели меня в любимое мною состояние умственной праздности и только настолько и остается духовной жизни, чтобы помнить друзей и думать о них”.

26 августа 1875 года: “Я два месяца не пачкал рук чернилами и сердца мыслями. Теперь берусь за скучную и пошлую “А.Каренину” с одним желанием: поскорей опростать себе место – досуг для других занятий, но только не педагогических, которые я люблю, но хочу бросить. Они слишком много времени берут. К чему занесла меня судьба в Самару – не знаю, но знаю, что я слушал речи в английском парламенте (ведь это считается очень важным), и мне скучно было и ничтожно было. А здесь вот мухи, нечистота, мужики, башкирцы, а я с напряженным вниманием, страхом вслушиваюсь (в их речи) и чувствую, что все это очень важно”.

1 марта 1876 года: “У нас все не совсем хорошо. Жена не оправляется с последней болезни и нет у нас в доме благополучия и во мне душевного спокойствия, которое мне особенно нужно теперь для работы. Конец зимы и начало весны всегда мое самое рабочее время, да и надо кончить надоевший мне роман”.

29 *апреля 1876 года:* “У нас началась весенняя и летняя жизнь и полон дом гостей и суеты. Эта летняя жизнь для меня точно как

сон; кое-что остается из моей реальной зимней жизни, но больше какие-то видения, то приятные, то неприятные из какого-то бестолкового, не руководимого здравым рассудком мира”.

18 мая 1876 года: “То чувствуешь себя Богом, что нет для тебя ничего сокрытого, а то глупее лошади, и теперь я такой”.

13 ноября 1876 года: “Я ездил в Москву узнавать про войну. Все это волнует меня очень. Хорошо тем, которым все это ясно, но мне страшно становится, когда я начинаю вдумываться во всю сложность тех условий, при которых совершается история, – как дама какая-нибудь А-ва со своим тщеславием и фальшивым сочувствием к чему-то неопределенному оказывается нужным винтиком во всей машине”.

“Сплю и не могу писать; презираю себя за праздность и не позволяю себе взяться за другое дело”.

7 *декабря 1876 года:* “Я понемногу начал писать и очень доволен собой”.

23 *марта 1877года:* “Голова моя лучше теперьˆ и насколько она лучше, настолько я больше работаю. Март и начало апреля самые мои рабочие месяцы, а я все продолжаю быть в заблуждении, что то, что я пишу, очень важно, хотя и знаю, что через месяц мне будет совестно это вспоминать”.

14 *апреля 1877 года:* “Вы в первый раз говорите мне о божестве – о Боге. А я давно уже, не переставая, думаю об этой главной задаче. И не говорите, что нельзя думать, – не только можно, но должно. Во все века лучшие, то есть настоящие, люди думали об этом. И если мы не можем так же, как они, думать об этом, то мы обязаны найти как”.

6 апреля 1878 года: “У Вас так много привязанности к житейскому, что если как-нибудь оборвется это житейское, Вам будет плохо; а у меня такое к нему равнодушие, что нет интереса к жизни, и я тяжел для других одним вечным переливанием из пустого в порожнее. Не думайте, что я рехнулся. А так – не в духе”.

26 октября 1878 года: “Вот уже с месяц, коли не больше, я живу в чаду не внешних событий (напротив, мы живем одиноко и смирно), но внутренних, которых назвать не умею. Хожу на охоту, читаю, отвечаю на вопросы, которые мне делают, ем, сплю, но ничего не могу делать, даже написать письмо. Обычная земная жизнь, со все усложняющимся воспоминанием и учением детей, идет как и прежде. Мы опять заняты самыми ясными, определенными делами, а я самыми неопределенными и потому постоянно имею стыдливое сознание праздности среди трудовой жизни”.

16 февраля 1879 года: “Я не болен, не здоров, но умственной

и душевной бодрости, которая мне нужна, – нет”.

25 *мая 1879 года:* “Давно я так не радовался на мир Божий, как нынешний год. Стою, разиня рот, любуюсь и боюсь двинуться, чтобы не пропустить чего”.

13 *июля 1879 года:* “Все мотаюсь, мучаюсь, тружусь, исправляюсь, учусь и думаю, не доведется ли мне заполнить пробелы, да и умереть, а все не могу не разворачивать самого себя”.

28 июня 1879 года: “Я не отрицаю ни реальной жизни, ни труда, необходимого для поддержания этой жизни; но мне кажется, что большая доля моей и вашей жизни наполнена удовлетворениями не естественных, а искусственно привитых нам воспоминанием и самими нами придуманных и перешедших в привычку потребностей, – праздный труд. Мне бы очень хотелось быть твердо уверенным в том, что я даю людям больше того, что получаю от них; но так как я чувствую себя очень склонным к тому, чтобы высоко ценить свой труд и низко ценить чужой, то я не надеюсь увериться в безобидности для других расчета со мной одним усилением своего труда и избранием тяжелейшего (я непременно уверю себя, что любимый мною труд есть самый нужный и трудный); я желал бы как можно меньше брать от других и как можно меньше трудиться для удовлетворения своих потребностей, – и думаю, так легче не ошибиться”.

ГЛАВА XI. О ПЕССИМИЗМЕ И РУСОФИЛЬСТВЕ ГРАФА ТОЛСТОГО

В последних из только что приведенных писем нельзя не заметить приближения кризиса. Толстой говорит, что он, здоровый человек, постоянно думает о смерти, а всякому известно, что действительно здоровые люди не только не думают о смерти, но считают себя бессмертными, или, точнее, поступают и живут так, как будто они были бессмертны. В то же время он не перестает думать о Боге – этой главной задаче жизни. Ему становится подозрительна привязанность к житейскому, и он предостерегает от нее Фета. Бодрость исчезла; расположение духа постоянно нехорошо, тревожно. К чему стремиться? Зачем стремиться? Он желает как можно меньше работать для удовлетворения личных своих потребностей, чтобы не заставлять других служить себе. Программа близкого кризиса уже изложена в этих тревожных и беспокойных мыслях. Прежний скептицизм, обращенный на себя и все окружающее, возвращается с удвоенной, накопленной силой, и мы предчувствуем, что уже ничто теперь не устоит против него. Обидные и преступные противоречия жизни выступают ярко, резко, неумолимо. Как это люди, одушевленные, допустим, самыми благородными и возвышенными идеями освобождения и спасения ближних – в данном случае братьев-славян, – могут идти убивать других таких же людей, гордиться своими кровавыми подвигами и принимать рукоплескания… за что? за убийство?… А тут еще всякие мелочи вроде какой-то А-вой, которая “со своим тщеславием и фальшивым сочувствием чему-то неопределенному” суетится и хлопочет, гордо задирает голову, жужжит, как надоедливая муха, о страданиях братьев-славян, о корпии, кисетиках и трубочках, а когда нахмуренное лицо слушателя говорит ей довольно ясно: “Отстаньте, сделайте милость”, она с убийственной язвительностью спрашивает: “А вы, значит, не сочувствуете братьям-славянам?… а, значит, освободительное движение для вас ничего?” – и пойдет, пойдет, как некогда madame Кукшина, беседуя с которой, Базаров не мог удержаться и не проговорить: “Тьфу, дура!” Конечно, все эти А-вы, Кукшины, занятые сегодня курением табаку во имя эмансипации женщин, завтра щипанием корпия во имя освободительного движения братьев-славян, послезавтра продажей шампанского в пользу голодающих или собиранием грошей на сестринский подарок г-же Адан и “la grande république française”[14] – мелочь. Но они бесчисленны, они

жужжат, как мухи, надоедают, злят своим тщеславием, самодовольством, тупостью, билетами на благотворительные вечера и пр. Скучно и глупо, а ведь имя А-вым – легион, их много.

Но прежде чем описывать кризис, я позволю себе сделать небольшое отступление и поговорить о пессимизме и русофильстве графа Толстого.

Любопытно прежде всего, что при отрицании роли героев в истории и низведении всего хода событий к массовому началу Толстой постоянно говорит и повторяет, что это *русская* точка зрения. "Русский ум, – читаем мы например, – отказывается признать героя, который бы мог управлять людьми, создавать события". В характеристике Кутузова мы встречаемся с тою же мыслью, хотя и не так еще резко выраженной: "Простая, скромная и потому истинно величественная фигура эта не могла улечься в ту *лживую форму европейского героя,* мнимо управляющего людьми, которую придумала история". Я прошу читателя припомнить теперь ту характеристику, которую дает Толстой Наполеону и Кутузову. Собственно, это не характеристика, а противопоставление. То, что есть у Наполеона, непременно отсутствует у Кутузова. Наполеон проникнут сознанием собственного величия; он самонадеян, он знает, что каждый его шаг и слово принадлежат истории, и постоянно красуется, постоянно взвешивает, что сказать, что сделать; он убежден, что от него, от его гения зависит выиграть сражение, передвинуть многомиллионные массы людей с запада на восток или с востока на запад. В Кутузове ничего этого нет. Тщеславие, самомнение, гордость, преувеличенное сознание собственной силы – это западный герой; простота, скромность, смирение – героизм русский. К этим основным чертам русского характера Толстой возвращается постоянно. О Пьере Безухове он говорит например: "Два одинаково сильные чувства неотразимо привлекли Пьера к исполнению его намерения… Первое… другое было то *неопределенное, исключительно русское чувство презрения ко всему условному, искусственному, человеческому* – ко всему тому, что считается большинством людей высшим благом мира…" В чем же выражается это неопределенное исключительно русское чувство? "Это то чувство, – говорит Толстой, – вследствие которого охотник-рекрут пропивает последнюю копейку, запивший человек перебивает зеркала и стекла без всякой видимой причины и зная, что это будет стоить ему его последних денег, – то чувство, вследствие которого человек, совершая (в пошлом смысле) безумные дела, как бы пробует свою личную власть и силу, заявляя присутствие высшего, стоящего вне человеческих условий суда над жизнью…" ("Война и мир", т. III, с. 500–501). Нельзя

сказать, чтобы все это было особенно лестно. Граф Толстой, однако, не останавливается на этом и, давая характеристику различным народностям, говорит: “Немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи – науки, то есть мнимого знания совершенной истины. Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично как умом, так и телом непреодолимо обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он – гражданин благоустроеннейшего государства в мире и потому как англичанин знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает как англичанин, несомненно хорошо. Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает легко и себя, и других. *Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь.* Немец самоуверен хуже всех и тверже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина”.

Опять-таки не лестно быть самоуверенным потому, что я ничего не знаю и знать ничего не хочу. А между тем несомненно, что русский характер и нелестные (для меня, например) черты этого характера прямо симпатичны графу Толстому. Господин Цион не без основания уверяет даже, что нерусского человека Толстой и изобразить не может иначе, как со злобой и сарказмом (Наполеон), с иронией и презрением (Рамбаль, m-elle Бурьен). Во французе Толстой видит только фразера, кривляку и хвастуна, хотя и очень добродушного; француженка – интриганка, произносящая с закатом глаз: “Ma mère, ma pauvre mère”…[15]

Отчасти Цион прав. Все типы иностранцев или русских, зараженных иностранным влиянием, у Толстого отрицательны. Пьер Безухов становится настоящим хорошим человеком, только сблизившись с “ними”, с массой, и отделавшись от заразы западного индивидуализма и западной веры в разум. Сам Толстой разочаровался в европейцах за их “западный дух”…

Но “эта неспособность судить обо всем, что иностранное, происходит, по мнению Циона, не от незнания, не от преднамеренной враждебности”, а от известного склада ума, пожалуй, структуры мозга, которая мешает Толстому проникать в гений другого народа, кроме русского.

По мнению того же Циона, Толстой нисколько не питает ненависти к европейским народам и не испытывает слепого удивления ко всему русскому. Слишком ясновидящий, чтобы не замечать недостатков своих соотечественников, он в то же время слишком искренний, чтобы не указывать на них. В ряду

многочисленных национальных типов, рассеянных в его романах, лишь очень немногие внушают к себе симпатию… Его картины русского общества суть сатиры и тем более жестокие, что тут уже одно сходство составляет горечь и что к ним не примешивается задней мысли о том, что автор чернит намеренно.

Все это как нельзя более справедливо; несомненно, однако, что во время создания “Войны и мира” русские симпатии Толстого были энергичны и почти не допускали сомнений. Его преклонение перед молчаливым героизмом народа заставило его преклониться и перед русским характером… Платон Каратаев обрисован с такой старательностью, такою любовью, как ни одно лицо в романе, и сердце автора несомненно на его стороне.

Что ж особенно нравится Толстому в русском человеке? Прежде всего признание высшего, стоящего вне человеческих условий суда над жизнью; а потом какой-то странный жизнерадостный пессимизм.

Этот высший, стоящий вне человеческих условий суд над жизнью иллюстрируется и рассказом Каратаева о купце, несправедливо сосланном на вечные каторжные работы, и историей Пьера Безухова.

В рассказе Каратаева о купце истина наконец открывается: “списали… послали бумагу, как следовает… Место дальнее, пока суд да дело, пока все бумаги списали как должно, по начальствам, значит… До царя доходило. Пока что, пришел царский указ: выпустить купца, дать ему награжденья, сколько там присудили; пришла бумага, стали старичка разыскивать… Где такой старичок, безвинно напрасно страдал? От царя бумага вышла… Стали искать. – Нижняя челюсть Каратаева дрогнула. – А его уж Бог простил – помер… Так-то, соколик! – закончил Каратаев и долго, молча улыбаясь, смотрел перед собой”.

Есть значит высший суд над жизнью?… – Да, есть, – отвечает Пьер Безухов в минуту прозрения, в плену, в грязи, в унижении.

> “ – Ха, ха, ха! – смеялся Пьер… И он проговорил вслух сам с собою: – Не пустил меня солдат… Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня – мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!.. Ха, ха, ха!.. – смеялся он с выступившими на глаза слезами… Он оглянулся вокруг себя… Прежде громко шумевший треском костров и говором людей, огромный бивак засыпал; красные огни костров потухали и бледнели. Высоко в светлом небе искрились звезды. Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. “И все это мое, и все это во мне, и все это я! – думал Пьер. – И все

это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками…” Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам…”

Вот он, суд земной, “загораживающий досками бессмертную душу человеческую!..”

И рядом с этим какой-то странный “жизнерадостный” пессимизм. Платон Каратаев (которому, кстати заметить, мы придаем *не меньшее* значение, чем придавал ему Толстой, сделав его руководителем всей обновленной жизни главного героя романа – Безухова) всегда весел, доволен, деятелен, всегда хлопочет, разговаривает, а между тем: “Так-то, друг мой любезный, – говорит он… – Рок головы ищет. А мы все судим: то нехорошо, да то неладно… *Наше счастье, дружок, как вода в бредне:* тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нет”. Припомните и определение русской самоуверенности; изречению Каратаева позавидовал бы сам Будда. Если действительно наше счастье – вода в бредне, то зачем же жить? А Каратаев, хотя и зовет смерть Божьим прощением, думает и о новых портянках и одерживает бородинские победы. Он даже весел, не напускной тщеславной веселостью преступника перед казнью, а весел просто, органически, как хлопотливая ласточка…

В народных типах Толстого неумолкаемо звучит пессимистическая и фаталистическая (“рок головы ищет”) струна. Та же струна слышна на каждой странице “Войны и мира”, несмотря на все патриотическое и поразительное одушевление, с каким написан роман… Откуда это? Цион написал по этому поводу положительно интересное исследование, с выводами которого я сейчас познакомлю читателя… “Отсутствие стойкости, недостаток индивидуальной выдержки – такие черты характера нетрудно обнаружить у большинства русских. Возгораясь непомерным энтузиазмом ко всякому начинанию, русский человек скоро охладевает; встречающиеся трудности, особливо если они непредвиденные и раздражающие, не замедлят охладить его пыл. Вскоре он начинает удивляться, что взялся за дело с такою рьяностью”. Этот недостаток выдержки делает уже человека склонным к пессимизму. “В русском, – продолжает Цион, – слишком значительна доза восточной крови, чтобы не отрешаться от индивидуализма. Но, напротив, тем, что называют табунным началом, он обладает в весьма сильной степени. В положении изолированном русскому не хватает твердости, он отходит в сторону и уступает легко. Но ничто не способно его заставить обратиться вспять, раз он чувствует себя с толпой. На миру и смерть красна”.

Итак, по мнению Циона, становясь на точку зрения своей нации, Толстой совершенно прав, придавая мало значения усилиям индивидуальной воли и, напротив, считая коллективную волю главным двигателем.

Где же источники пессимистической окраски этой системы и этого мировоззрения?… Если физиолог может объяснять источник пессимистического настроения некоторых философов условиями их личной жизни (например, слепота Дюринга, паралич Гартмана и т. д.), то в отношении Толстого сделать это не легко. Ни природа, ни общество не были мачехами великого писателя… Как раз напротив. “Родовитость, значительное состояние, наилучшие связи в свете; любящая и любимая семья, несравненные литературные успехи, небывалая слава, здоровье крепкое и цветущее, обширные познания, приобретенные без больших усилий, – все это дано Толстому, как никому, – а он стыдится своих чудных творений, называет книгопечатание гибельным изобретением. Не странно ли все это?”

Цион разлагает пессимизм графа Толстого на два элемента: племенной и личный. Не раз было замечено, что какая-то печальная нотка преобладает у всех без исключения русских поэтов, романистов, художников, музыкантов. Поэты впадают в элегический тон, романисты становятся реалистами и потому меланхоличными, как сама русская жизнь. Эта грустная нота появлением своим обязана воздействию всей массы многообразных условий русской действительности, начиная от сурового климата, болезненной впечатлительности славянской натуры и кончая апатией, порождаемой органическим убеждением, что всякое доброе начинание должно роковым образом остаться бесплодным. Русский человек как бы подавлен грустными впечатлениями своей среды. Даже у таких юмористов, как Гоголь и Щедрин, постоянно пробивается наружу меланхолическое настроение.

Таков племенной источник пессимизма, который можно назвать *подавленностью* личности. Личный же элемент заключается, по мнению Циона, в том, что, вступив в свет, Толстой как глубокий и проницательный психолог должен был сделать неутешительные наблюдения над действительностью. Чем ближе знакомился он с каким-нибудь кружком общества, тем неприятнее были его впечатления. Полной гармонии жизни, которой требовала его душа, он не встречал нигде, да ее и нет на свете. Таким образом, Толстой стал жертвою своей несравненной проницательности, своего удивительного дара наблюдения. С юных лет он уже смотрит разочарованным, испытывает отвращение к обществу и жизни. Не питая того благодушного

презрения, которое “спасает от меланхолии иных разочарованных людей, он отдается пессимизму”…

Я бы хотел отметить и еще один элемент пессимизма Толстого – его пресыщение жизнью, отчасти по наследству полученное, отчасти благоприобретенное. Впрочем, сам Цион намекает на это, говоря:

“Толстой творит легко. Чувствуется при чтении его произведений, что образцовые страницы в них вышли из головы писателя во всей своей красе, совершенно законченными, и не нуждаются ни в какой ретуши. К столь счастливому дару присоединяется редкое счастье, с самого начала своих литературных дебютов, быть понятым, оцененным и выдвинутым на видное место… Толстого осыпают похвалами, лестными отзывами. Какое же влияние должен иметь на него этот успех?

“Исповедь” повествует об этом откровенно и с безусловной искренностью. Он презирает критику и своих читателей именно за то удивление, каким его награждают, и он не без презрения относится к своим творениям. Не изменяя своей прямоте, своей честности, он приходит к мысли, что он крадет деньги у публики, что его состояние приобретено бесчестно, что он – лишний тунеядец, подобно прочим своим современникам. С непреклонною логикою, свойственной его расе, он весьма скоро убеждается, что ручной труд – единственно честный, единственно достойный человека, и, решившись “идти в народ”, наш писатель одевается “мужиком” и идет работать на поле”.

Разве не это же пресыщение, вызванное миллионами, праздной, легкой жизнью, праздной красавицей женой, заставило Пьера Безухова почувствовать особенную прелесть голода, холода, жажды и вшей… даже вшей?… Излишек радости и излишек страданий всегда влекут к недовольству и отвращению от жизни.

Но как бы мы ни разлагали настроение Толстого, мы никогда не должны забывать, что наша жизнь сшита не по мерке великих людей. Тоска, грусть и отчаяние почти неизбежны для слишком богато одаренной натуры… “Ведь сердце поэта, – говорит Гейне, – центр мира, как же не быть ему в настоящее время разорванным?”

ГЛАВА XII. КРИЗИС

Мне думается, что предыдущие главы должны были подготовить читателя к наступлению кризиса в душе Толстого, так как кризис этот никогда, в сущности, не прекращался. Сомнения и муки таились все время и наконец с невероятной силой вырвались наружу. Случилось то же, что случается перед нами на каждом пожаре: огонь сначала таится внутри здания, языки пламени медленно переходят с одного предмета на другой, лишь изредка вырываясь сквозь окна или бросая на них красное зарево. Но огонь окреп, пробрался сквозь крышу на свежий воздух, и вдруг здание вспыхивает, как свеча…

Что было ближайшим поводом кризиса – определить трудно. Да и нужно ли искать этих ближайших поводов? Они важны в юности, важны для человека с обыденным умом, живущего в приятной дремоте, – этому нужен толчок, встряска. Но Толстому в описываемое время, то есть во второй половине 70-х годов, было уже около пятидесяти лет, в приятной дремоте он не находился никогда. Его ум работал неустанно. Когда корни растения подкопаны, но остался еще один тоненький корешок, оно, хотя бы чахлое, все еще продолжает жить; но вот и этот корешок перерезан, и растение умирает. Под свои верования Толстой подкапывался всю жизнь, а в какую минуту перерезал он последний корешок – сказать нельзя. Он постоянно висел над пропастью отрицания, висел, держась за чахлый кустик, основу которого грызли мыши. Рано или поздно кустик должен был оборваться, а человек слететь в пропасть. Это собственное сравнение Толстого. В “Исповеди” он рассказывает о путнике, застигнутом в пути разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодезь. Но – увы – на дне колодца лежит дракон с разинутой пастью. Путник ухватывается за ветви растущего в расщелине куста. Но куст рано или поздно должен оборваться, потому что две мыши, черная и белая, подтачивают его ствол с разных сторон. Путник видит это, понимает, что он должен с минуты на минуту упасть вниз и погибнуть, и, видя и понимая все это, лижет засохшим языком капли меда на листьях куста.

Разъяренный зверь пустыни и дракон – это смерть. Мыши – время, куст – жизнь… Капли меда – радости жизни… Пока есть мед – есть и силы, и смысл, и призраки счастья…

“Так я жил, – рассказывает Толстой о периоде своего “семейного счастья”, – но пять лет назад (1876 год) со мною стало случаться что-то странное: на меня стали находить минуты

сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние.

Но это проходило, и опять я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинокими вопросами: зачем?., ну, а потом?… Сначала мне казалось, что это так себе, бесцельные, неуместные вопросы. Мне казалось, что все это известно и что если я захочу заняться их разрешением, то это не будет стоить мне никакого труда, что теперь мне некогда только этим заниматься, а когда вздумаю, тогда и ответы найду. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнее и настоятельнее требовались ответы, и, как точки, падая все на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно черное пятно. Я нашел, что это не случайное недомогание, а что-то очень важное; и что если повторяются все те же вопросы, то надо ответить на них. Но только что я тронул их и попытался разрешить эти казавшиеся мне детскими и простыми вопросы, я тотчас же убедился, что эти вопросы – самые глубокие и важные в жизни вопросы и что сколько бы я ни думал, я не могу разрешить их. Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю – зачем, я не могу ничего делать.

Ну, хорошо, у тебя будет 6 тысяч десятин, 300 голов лошадей, а потом?… И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: зачем?… Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: а мне что за дело? Или, думая о славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: “Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну, и что ж?” И я ничего, ничего не мог ответить.

Остановилась тогда моя жизнь. Я мог дышать, есть, пить, спать и не мог не дышать, не есть, не спать, но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, я вперед знал, что удовлетворю или не удовлетворю мое желание – из этого ничего не выйдет. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в трезвые минуты я знаю, что это – обман, что желать нечего. Какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от жизни. Мысль о самоубийстве была так соблазнительна, что я должен был употреблять против нее хитрости, чтобы не привести ее слишком скоро в исполнение. Я не хотел торопиться только потому, что хотелось употребить все усилия, чтобы распутаться. Если не распутаюсь, то всегда успею, –

говорил я себе… И это сделалось со мною тогда, когда я был совершенно счастлив – все у меня было: семья прекрасная, средства большие и все возраставшие, слава, уважение ближних, здоровье, сила телесная и душевная, кажется, все…

Я уже ничему в жизни не мог придать никакого разумного смысла. Все это так давно всем известно. Не нынче завтра придут болезни и смерть на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, забудутся все раньше или позже – это все равно. И главное – меня не будет. Так из чего же хлопотать? Прежний обман радостей житейских, заглушавший ужас смерти, уже не обманывал меня. Сколько ни говорили мне: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи, – я не мог уже этого делать, потому что слишком долго делал это прежде. Теперь я не мог не видеть дня и ночи, бегущих и ведущих меня к смерти…

Те две капли меда, которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины, – любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством, – уже стали не сладки мне. Семья? – говорил я себе, – но семья – жена, дети, они – тоже люди. Они тоже должны или жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем же мне жить? Зачем мне любить их, беречь, растить… и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или тупоумия? Любя их, я не могу скрывать от них истины, всякий шаг в познании приведет их к истине. А истина – смерть… Искусство, поэзия? Долго под влиянием успеха, похвалы людской я уверял себя, что смерть, которая уничтожит и дела мои, и память о них, – ничтожна. Но скоро я увидел, что и это обман. Мне ясно было, что искусство есть украшение жизни, заманка к ней. Но жизнь потеряла для меня всю заманчивость – как же я могу заманивать других? Пока я верил, что жизнь имеет смысл, хоть я и не умею выразить его, – отражение жизни в искусстве доставляло мне радость, мне весело было смотреть на жизнь в это зеркальце искусства. Но когда я стал отыскивать смысл жизни, зеркальце это стало мне или мучительно, или ничтожно…

Зеркальце теперь говорило, что положение мое отчаянно и глупо; этим я не мог утешаться. Хорошо мне было любоваться его отражениями, когда я верил, что жизнь имеет смысл. Тогда эта игра светов – комического, трагического, трогательного, прекрасного, ужасного в жизни потешала меня. Но когда я узнал, что жизнь бессмысленна и ужасна, игра в зеркальце не могла уже забавлять меня. Но и этого мало. Если эта истина всегда была мне известна, я бы мог быть спокойным, зная, что это мой удел. Если бы я был как человек, от рождения безвыходно живущий в лесу, из которого он знает, что выхода нет, я бы мог жить.

Но я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашел ужас оттого, что он заблудился, и он мечется, желая выбраться на дорогу; знает, что всякий шаг еще больше путает его, и не может не метаться. Это было ужаснее всего… И чтобы избавиться от этого ужаса, я хотел убить себя. Я испытывал ужас перед тем, что ожидает меня, знал, что этот ужас ужаснее самого положения, но не мог терпеливо ждать конца. Как ни убедительно было рассуждение о том, что все равно разорвется сосуд в сердце или лопнет что-нибудь и все кончится, – я не мог терпеливо ожидать конца. Ужас тьмы был слишком велик, и я хотел поскорей, поскорей избавиться от него петлей или пулей. И вот это-то чувство сильнее всего влекло меня к самоубийству…”

Толстой по обыкновенной своей привычке, раз дело касается личной его жизни, говорит слишком общо: “На него стали находить минуты уныния, жизнь его остановилась” и т. д. “Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю” – вот смысл предыдущих строк. Мед исчез, возможность и охота наслаждаться медом исчезла – корень жизни надломился, и великий человек на вершине человеческой славы опять стоит с глазу на глаз с роковой тайной бытия и, вперив в бесконечную пустоту вселенной свой испытующий взгляд, спрашивает себя: зачем, к чему?

Кто же расскажет, что тайна от века,
В чем состоит существо человека…
Кто он? Откуда, куда он идет?
Кто там вверху над звездами живет?
Это страшный вопрос, и прав поэт, говоря:
Сколько голов беспокойных томил он,
Сколько им муки принес!

И вот, счастливейший из смертных, граф Толстой прячет от себя шнурок, чтобы не повеситься, и не ходит на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Что же такое жизнь? – спрашивает себя этот счастливейший из смертных и отвечает: кем-то сыгранная с нами злая и глупая шутка… Он смотрит на веселые, смеющиеся лица детей, на другие знакомые, любимые лица и думает: пройдут годы, и в сущности немного лет всего, и замолкнет этот смех, и не останется ничего; кроме смрада и червей. Что я в сравнении с вечностью? Обидный страшный звук – не больше.

Толстой говорит, что он “боялся жизни”, “стремился от нее”. Я думаю, что он всего сильнее боялся смерти. Приближающаяся старость, седина и морщины, болезни – все это направляло ум к

той стране, откуда не возвращался еще никто. С точки зрения смерти, все суета, все глупо, не нужно, пусто. Дойти до такого настроения, когда, смотря на смеющиеся красные губы, воображаешь их изъеденными червями, или, видя перед собой лучистые, полные жизни глаза, думаешь о безобразных впадинах черепа, набитых землею, – значит не жить уже больше. Мы сейчас ближе познакомимся с этим процессом смерти и возрождения. Но пока одно маленькое замечание.

Чем жив человек? Своей привязанностью к жизни прежде всего. Она не иллюзия, а мать всех иллюзий, надежд, ожиданий, она источник силы, стремления, радости. Раз исчезла она, исчезло все. Привязанность к жизни, инстинкт не выдерживает критики с точки зрения разума и не нуждается в этой критике. Я думаю даже, что такая критика преступна. Это понимал Лермонтов, когда писал: я не хочу…

Чтоб тайный яд страницы знойной
Смутил ребенка ум спокойный
И сердце слабое увлек
В свой необузданный поток…
О нет, *преступною* мечтою
Не ослепляя мысль мою,
Такой тяжелою ценою
Я вашей славы не куплю…

Уничтожать в другом привязанность к жизни – преступная мечта. Это все, что есть у человека, это богатство всех его дней; отнимать его то же, что отнимать у нищего суму и корку хлеба у голодного. Когда паралитик Гартман говорит, что жизнь скучна, – это не беда; но когда он с немецкой аккуратностью и несомненным блестящим и ловким диалектическим талантом начинает перечислять все радости бытия и подкапываться под чувство любви, дружбы, веры, счастья, я полагаю, что он совершает преступление. Привязанность к жизни – сумма всех инстинктов жизни, их равнодействующая, таинственный жизненный эликсир алхимии; величие разума в том, чтобы увеличивать ее, давать ей свободу проявления, предохранять ее от ошибок, но не заражать тайным ядом сомнения. Сомнение должно остановиться здесь; идти далее преступно. Такое страшное преступление совершил Гамлет, хотя он и любил Офелию более, чем сорок тысяч братьев. Он влюбленной, милой, полной жизни девушке показывал лишь череп и могильных червей, он послал ее в монастырь. Прямое убийство лучше и честнее, чем эта медленная отвратительная инквизиция.

Толстой подверг критике разума саму привязанность к жизни и дошел до мысли о самоубийстве. Это необходимо и логично. Он сообщил о своих сомнениях всем, всему миру – это было бы преступлением, если бы кризис его не кончился возрождением. Поэтому без боли и ужаса можем мы следить за дальнейшими исканиями великой души. Эти искания не приведут нас к глухому переулку, а выведут на дорогу, по которой идти или не идти – наше дело; все же дорога есть даже для Толстого.

Толстой обратился к науке. Вопрошая эту сторону человеческих знаний, он получил бесконечное количество темных ответов о том, о чем не спрашивал: о химическом составе звезд, о происхождении видов и человека, о формах бесконечно легких невесомых частиц эфира, но ответа на вопрос, в чем смысл жизни, он не получил и, разумеется, не мог его получить, потому что наука этим вопросом не занимается и заниматься не может. Все равно как я не стану заглядывать в X том законов, чтобы справиться о том, что такое нравственность, и не должен обращаться к китайской грамматике, чтобы узнать, как излечиться мне от болезни, – так для решения вопроса о смысле жизни мне нечего читать Дарвина, Лапласа, Лавуазье, Лайеля. Смысл жизни – это конечная цель жизни, а ни о каких конечных целях наука не рассуждает, давно уже убедившись, что такие рассуждения бесплодны и невозможны.

Толстой обратился к философии. Здесь он, по-видимому, нашел выход из своего положения, но этот выход был как раз тот, который наводил на него такой ужас. Этим выходом была смерть. Он называет Сократа, Соломона, Будду, Шопенгауэра глубочайшими умами человечества. Чему же учат они? Толстой так формулирует их воззрения: “К чему мы, любящие истину, стремимся к жизни? К тому, чтобы освободиться от тела и от всего зла, вытекающего из жизни тела. Если так, то как же нам не радоваться, когда смерть приходит к нам? “Мы приблизимся к истине лишь настолько, насколько удалимся от жизни”, – говорил Сократ, готовясь к смерти. Мудрец всю жизнь ищет смерти, и потому смерть не страшна ему”.

Итак, смысл жизни в смерти?

Толстой обратился к людям своего круга и нашел у них четыре выхода из сомнений. Первый выход есть выход неведения, состоящий в том, чтобы не знать и не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица. Второй выход есть выход эпикурейства. Человек знает безнадежность своего положения и все же говорит, как некогда Соломон: “Ешь с веселием хлеб свой и пей в радости сердца вино твое”… Третий выход – самоубийство. Четвертый – слабость и малодушие. Понимая, что жизнь есть зло и

бессмыслица, люди все же тянут ее.

Разумеется, ни одного из этих четырех выходов не мог принять Толстой, потому что нельзя не знать того, что знаешь, и не понимать того, что понимаешь.

И он обратился к тому, кто всегда спасал его, кто всегда с ласковой, доброй улыбкой протягивал ему, утопающему, руку, – к народу, массе.

“Благодаря, – говорит он, – какой-то странной физической любви к настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидеть, что он не так глуп, как мы думаем, – я чуял, что если я хочу понимать смысл жизни, то искать этого смысла жизни мне надо не у тех, которые утеряли его и хотят убить себя, а у тех миллиардов живущих и отживших людей, которые делают и на себе несут свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромные массы людей, живших вокруг меня…”

“Вера – сила жизни”. К этому выводу пришел Толстой, и против такого вывода никто никогда ничего возразить не может. Вера – это воля жизни, сосредоточившаяся возле одного определенного стремления и дающая смысл и цель всему нашему бытию.

Но где и как найти эту веру? Вопрос, по-видимому, неразрешимый. Если я ничего не хочу (кроме удовлетворения самых элементарных потребностей), то кто заставит или научит меня хотеть; если я ни к чему не стремлюсь, то что заставит или научит меня стремиться? Знание приобретается легко, но приобрести веру, когда ее нет, большинству кажется совершенно невозможным. Эту самую невозможность испытал и Толстой, пока не пришел наконец к правилу: “Живи по вере, и ты поверишь…” Но пришел он к этому не сразу. Немало времени искал он веры так же, как мы ищем знания. Он обращался к монахам, странникам и священникам, он ходил в Оптину пустынь, он запирался каждое утро в кабинете и молился, он постился, говел. Наконец он стал изучать Евангелие и вчитываться в его бессмертные слова, продолжая собирать в то же время “сведения о вере”, если можно так выразиться. Он сближался с католиками, изучал еврейский язык под руководством московского раввина Минора, все стремясь к тому же – к пониманию Евангелия… Несколько лет провел он в этой умственной напряженной работе, познакомился со всеми толкованиями, накопил массу специальных знаний, сам комментировал, продолжая страдать, наслаждаться и сомневаться… Так рассказывает он об этих своих занятиях:

“Я прожил на свете 55 лет и, за исключением 14–15

детских, 35 лет я прожил нигилистом в настоящем смысле этого слова, то есть не социалистом и революционером, как обыкновенно понимают это слово, а нигилистом в смысле отсутствия веры.

Пять лет тому назад я поверил в учение Христа, и жизнь моя *вдруг* переменилась: мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. То, что прежде казалось мне хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. Случилось со мной то, что случается с человеком, который вышел за делом и вдруг решил дорогой, что дело это ему совсем не нужно, и повернул домой. И все, что было справа, стало слева, и все, что было слева, стало справа: прежнее желание быть как можно дальше от дома переменилось на желание быть как можно ближе от него. Направление моей жизни – желания стали другими: и доброе, и злое переменилось местами.

Я так же, как разбойник на кресте, поверил учению Христа и спасся. И это не далекое сравнение, а самое близкое выражение того душевного состояния отчаяния и ужаса перед жизнью и смертью, в котором я находился прежде, и того состояния спокойствия и счастья, в котором я нахожусь теперь. Я, как разбойник, знал, что жил и живу скверно, видел, что большинство людей вокруг меня живут так же. Я так же, как разбойник, знал, что я несчастлив, страдаю и что вокруг меня люди также несчастливы и страдают, и не видал никакого выхода, кроме смерти, из этого положения. Я так же, как разбойник к кресту, был пригвожден какой-то силой к этой жизни страданий и зла. И как разбойника ожидал страшный мрак смерти после бессмысленных страданий и зла жизни, так и меня ожидало то же”

(1883 год).

ГЛАВА XIII. УЧЕНИЕ ТОЛСТОГО

Мы остановимся только на самых существенных пунктах:

1). *Основная идея жизни – идея религиозная.*

“Как ни храбрись, – говорит Толстой, – привилегированная наука с философией, уверяя, что она решительница и руководительница умов, не руководительница, а слуга. Миросозерцание всегда дано ей религией готовое, и наука только работает на пути, указанном ей религией. Религия открывает смысл жизни людей, а наука прилагает этот смысл к различным сторонам жизни”.

Ту же самую мысль он повторяет постоянно. Например:

> “Философия, наука, общественное мнение говорят: учение Христа неисполнимо потому, что жизнь человека зависит не от одного света разума, которым он может осветить самую эту жизнь, а от общих законов, и потому не надо освещать эту жизнь разумом и жить согласно ему, а надо жить как живется, твердо веруя, что по законам прогресса исторического, социологического и других, после того как мы очень долго будем жить дурно, наша жизнь сделается сама собой очень хорошей…”

Такие нападки на науку и презрительный тон по адресу законов “исторических”, “социологических” и других не должны удивлять нас. Наука никогда ничего не могла дать Толстому, потому что, как мы видели уже раньше, он спрашивал ее совсем не о том, о чем можно спрашивать науку.

Но если мы оставим в стороне слишком резкую формулировку Толстого, чем он постоянно грешит, говоря о науке или философии, и посмотрим лишь на остов мысли, выраженной в предыдущих словах, то найдем совершенно справедливое указание на одну существенную черту научного и философского мышления – именно на признание *“необходимости” в жизни.* Наука и философия не могут так беспредельно верить в силу человеческого разума, как верит в нее граф Толстой. Наука и философия рассматривают и изучают человека не самого по себе, а в отношении ко вселенной, к истории, к тому, что делалось миллионы лет тому назад и будет делаться миллионы лет спустя, когда нас лично не было и не будет. Отсюда и различие в оценке. Поставив человека рядом с Казбеком или Монбланом, мы найдем, что он – предмет очень

милый с виду; но, поставив его рядом с мухой, найдем, что он – существо довольно обширных размеров. Говоря о личной жизни и даже жизни отдельного поколения в сравнении с прошлой и будущей судьбой всего человечества и всей вселенной, мы едва ли придадим им ту важность, которую необходимо придадим, если посмотрим на них как на нечто самостоятельно сущее. Астроном, изучая образование вселенной, геолог – образование земной коры, физик и химик – свойства и деятельность элементов, историк – прошлое человека, никак не могут проникнуться безусловным уважением к разуму человеческому, потому что до сей поры они ни на чем не видели его следов, или же эти следы так же незначительны, как следы ребенка на гранитной скале. Даже, повторяю, историк смело может спросить себя, что же сделал человеческий разум? *Пока* слишком мало. Величайшие факты нашей новой европейской истории – переселение народов, падение крепостничества, развитие капиталистической системы хозяйства – не носят на себе ни малейших следов разума человеческого. На каком же основании можно возлагать на этот последний такие большие надежды? Не говоря уже о том, что и понять-то что-нибудь очень трудно при несомненной умственной косности и умственной забитости большинства людей – перевести это понимание в действия в 999 случаях из 1000 прямо невозможно. Граф Толстой утверждает, однако, что это очень легко. *"Только бы,* – говорит он, – люди перестали себя губить и ожидать, что кто-то придет и поможет им"…

Только бы… только… да в этом "только" вся суть и заключается.

Но с этой преувеличенной верой Толстого в силу человеческого разума и воли, с его благородным, хотя и утопическим убеждением, что жизнь переменится сразу, если мы того захотим и поверим, – мы еще встретимся. Пока же второй пункт, который гласит:

2) *Религиозная идея практична,* то есть ведет человека не к созерцанию, а к деятельности, поступкам. Она дает человеку правила жизни и прежде всего выводит его из заколдованного круга личного эгоизма.

Можно ли удовлетвориться личной своей жизнью? Граф Толстой решительно это отрицает.

> "Все те бесчисленные дела, которые мы делаем для себя, в будущем не нужны; все это обман, которым мы сами обманываем себя. Притчей о виноградарях Христос разъясняет этот источник заблуждения людей…

> заставляющего их принимать призрак жизни, свою личную жизнь, за жизнь истинную. Люди, живя в хозяйском обработанном саду, вообразили, что они собственники этого сада. И из этого ложного представления вытекает ряд безумных и жестоких поступков, кончающихся их изгнанием, исключением из жизни; точно так же мы вообразили себе, что жизнь каждого из нас есть наша личная собственность, что мы имеем право на нее и можем пользоваться ею как хотим, ни перед кем не имея никаких обязательств. По учению Христа люди должны “понимать и чувствовать”, что со дня рождения и до смерти они всегда в неоплатном долгу перед кем-то, перед жившими до них и перед живущими и имеющими жить, и перед тем, что было и есть и будет началом всего”.

Несколькими строками ниже Толстой говорит и понятнее: “Жизнь истинная есть только та, которая продолжает жизнь прошедшую, содействует благу жизни современной и благу жизни будущей”.

Хотя мысль эта выражена в очень общей и потому совершенно неубедительной форме, я все же думаю, что ни наука, ни философия ничего против нее возразить не могут. Человек как личность на самом деле находится в неоплатном долгу перед жившими, живущими и имеющими жить, и давно уже не только сказано, но и доказано, что один, предоставленный самому себе, он может разве лишь с успехом обрасти шерстью. Толстой вообще не устает называть личную жизнь призраком – призрачной, из чего совершенно естественно вытекает вывод, что истинная жизнь может быть основана лишь на отречении от себя для служения людям.

3) *Современное учение мира противоречит учению Христа.* Толстой постоянно возвращается к этой мысли, и, надо согласиться, в этом сила его учения.

Он шел как-то по Москве и увидел сторожа, грубо отгонявшего нищего от ворот, где нищим стоять было воспрещено. “Евангелие читал?” – спросил сторожа Толстой. “Читал”. – “А читал: “И кто накормит голодного!..” Я сказал ему это место. Он знал его, выслушал. И я видел, что он смущен. Ему, видно, больно было чувствовать, что он, отлично исполняя свою обязанность, гоняя народ оттуда, откуда велено гонять, вдруг оказался неправ. Он был смущен и видимо искал отговорки. Вдруг в умных черных глазах его блеснул свет; он повернулся ко мне боком, как бы уходя. “А наш устав читал?” – спросил он. Я

сказал, что не читал. “Так и не говори”, – сказал сторож, тряхнув победоносно головой, и, запахнув тулуп, молодецки пошел к своему месту. Это был единственный человек во всей моей жизни, строго логически разрешивший тот вечный вопрос, который при нашем общественном строе стоял передо мною и стоит перед каждым, называющим себя христианином”.

Учение Христа построено на любви и братстве, наша жизнь – на силе. Сильный преобладает над слабым, ученый – над глупым, богатый – над бедным, талантливый– над бесталанным.

Что же делать? Прежде всего *одуматься* и спросить себя: приносит ли мне счастье та самая жизнь, на которую я трачу все свои силы? Двух ответов на этот вопрос, по словам Толстого, быть не может. Мы живем по учению мира, думаем о накоплении богатств, о превосходстве над другими, о галантном воспитании детей своих, хлопочем, беспокоимся, мучаемся, и все это из-за чего? Чтобы жить, как люди, или чтобы не жить хуже других людей. Толстой одумался и пришел к такому выводу: что “в своей исключительно в мирском смысле счастливой жизни я наберу страданий, понесенных мною во имя учения мира, столько, что их стало бы на хорошего мученика во имя Христа. Все самые тяжелые минуты моей жизни, начиная от студенческого пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тех неестественных и мучительных условий жизни, в которых я живу теперь, – все это есть мученичество во имя учения мира. Да, я говорю про свою, еще исключительно счастливую в мирском смысле, жизнь. Мы не видим всей трудности и опасности исполнения учения мира только потому, что мы считаем, что все, что мы переносим для него, необходимо”.

> “Пройдите по большой толпе людей, особенно городских, и вглядитесь в эти истомленные тревожные лица, и потом вспомните свою жизнь и жизнь людей, подробности которой вам удалось узнать; вспомните все те насильственные смерти, все те самоубийства, о которых вам довелось слышать, и спросите: во имя чего все эти страдания, отчаяние и горе, приводящие к самоубийствам?”

Ответ Толстого прост: мы – мученики учения мира. Противоположное учению Христа, оно ведет нас к братоубийственной борьбе, злобе, ненависти, ожесточенному одиночеству. Оно заставляет нас желать гибели ближнего и опускать руку, протянутую на помощь ему. Оно ставит для нашей деятельности ненужные и пустые цели, преследуя которые, мы совершенно забываем об истинном смысле жизни. И это забвение

не проходит даром: мы расплачиваемся за него преступлениями, самоубийствами, тяжелым и постоянным чувством недовольства и неудовлетворенности. Гонясь за призраками мирских идеалов, мы ощущаем лишь пустоту и утомление. В нашей жизни нет *счастливых* людей. “Поищите, – говорит Толстой, – между этими людьми и найдите от бедняка до богача человека, которому бы хватало то, что он зарабатывает, на то, что он считает нужным, необходимым по учению мира, и вы увидите, что не найдете и одного на тысячу. Всякий бьется изо всех сил, чтобы приобрести то, что не нужно для него, но что требуется от него учением мира и отсутствие чего он считает для себя несчастием. И как только он приобретет то, что требуется от него, потребуется еще другое и еще другое, и так без конца идет эта сизифова работа, губящая жизнь людей”.

Итак, виновато “учение мира”, и виновато прежде всего потому, что никогда, ни при каких усилиях не обеспечивает человеку счастья. Преступления и самоубийства, разрывные бомбы и казни, чума и неурожаи, бунты и драки – вот, по-видимому, тот материал, которым наполняется наше ежедневное существование. Изредка выступает на сцену какой-нибудь “отрадный факт”, такой микроскопический, что сравнительно с окружающим его злом он представляется камешком, катящимся по крутизне Казбека, и робким блеском фонаря над темнотой пропасти, куда не достигают даже лучи солнца. Где же тут говорить о счастье?… Чтобы было счастье, надо прежде всего держаться по Толстому знаменитого правила:

4) *Не противься злу.*

Я совсем не оптимист и живу в том убеждении, что как ни страшно то зло, которое мы знаем, оно не составляет и сотой доли того зла, которого мы не знаем. Мы не знаем и не можем знать, как страдает мать, на руках которой умирает голодный ребенок; мы не знаем и не можем знать, что испытывает человек, когда над ним опускается топор гильотины. Для нас это иероглифы. И однако, несмотря на такой взгляд на вещи, я полагаю, что Толстой слишком сгущает краски. Он сгущает их, когда говорит, что страданий, перенесенных им лично в его исключительно счастливой жизни, хватило бы на доброго христианского мученика; сгущает краски и тогда, когда говорит, что учение мира – одно сплошное зло.

Я не буду говорить банальной и пошлой фразы, что рядом со злом существует и добро, рядом с человеконенавистничеством проявляется сострадание… ну, филантропия, что ли. Бог с ними, и с добром нашей жизни, и с филантропией, так как, очевидно, не в них дело.

Я спрашиваю себя: что такое добро? Добро – наслаждение, и сумма этих наслаждений составляет счастье. Зло – страдание. В результате счастья – продолжение жизни, в результате страдания – прекращение жизни, то есть смерть. Смерть неминуема, если сумма наслаждений меньше суммы страданий; жизнь возможна лишь при том условии, что сумма наслаждений перевешивает сумму страданий. Это элементарный вывод биологии, и ясно, что вытекает из него.

Пусть не Толстой, а другой кто-нибудь, хотя бы второй Шопенгауэр или Гартман, составят список всех проявлений зла. Исписав три стопы бумаги, они увидят себя лишь в самом начале работы… И все же жизнь продолжается, и все же люди живут дольше, чем прежде, и все же работа человечества не прекращается ни на минуту.

Сумма наслаждений превышает сумму страданий. Но как? Где тот таинственный знак, который отрицательную величину обращает в положительную? Где то, что делает нашу жизнь, полную зла, все же способною продолжаться?

Я знаю, что ответ будет неприятен последователям графа Толстого, и все же не вижу причины скрывать его. Этот таинственный знак, это то, что мы ищем, есть не что иное, как *противление злу*. В борьбе-то с ним, постоянной, упорной, настойчивой, человечество находит неиссякаемый источник наслаждения, и эта-то борьба дает ему возможность переносить то, что с точки зрения разума непереносимо.

Не буду спорить о термине: противление насилием или без насилия. Насилие насилию рознь. Мать, которая укладывает ласково и нежно своего ребенка, не хотящего спать, – совершает над ним насилие; солдат, который грубо ведет меня за шиворот в плен, совершает надо мной насилие; жена, которая не дает мне, больному, того, что для меня вредно, совершает насилие; Толстой, который гениальной страницей, исполненной отрицания, выводит меня из состояния блаженного неведения, совершает надо мной насилие, и лучшее доказательство, что это действительно насилие, то, что я спорю с ним. В одном случае я дерусь, в другом спорю, в четвертом барахтаюсь, – и там, и здесь противлюсь. Противление, какое бы то ни было, дает перевес наслаждению над страданием, и так было всегда, пока жило человечество. Троглодит, противившийся напавшему на него пещерному льву; русские люди, противившиеся вторжению Наполеона; публицист, противящийся лжи и суеверию, – все они насильники в том или другом виде и все они в противлении-то и находили наслаждение, которое позволяло переносить страдание.

Если же мы признаем, что противление злу, давая человеку

неиссякаемый источник наслаждения, обусловливает саму возможность жизни, погруженной во зло, то мы поймем не только то, как это мы все еще живы, но и то, как мы будем жить дальше, хотя бы зло возросло.

Но, скажут, Толстой не отрицает противления вообще. Он отрицает лишь противление злу злом, насилию насилием и требует, чтобы человек *шел дорогой добра, несмотря ни на что.* Это, однако, не так. Текст ясен: не противься злу, не больше и не меньше.

Мне кажется, что, хотя Толстой и сделал текст о непротивлении злому краеугольным камнем своего учения, все же в толковании этого текста он часто противоречит себе. В одном месте он пишет: “Слова эти: не противься злу и злому, понятые в *их прямом значении,* были для меня истинно ключом, открывшим для меня *все”.* Что же могут означать эти слова в их прямом значении? Не противься злу *никак:* ни злом, ни добром, ни насилием, ни убеждением, ничем, что находится в твоем распоряжении. Что же это за *“все”?* Что мог открыть Толстому их прямой смысл? Если бы он рассуждал не как живой и великий человек, а как логическая машина, он бы сказал: это все есть полное ничто, это все есть переход aus individueller Nichtigkeit ins Urnichts,[16] то есть нирвана. Однако Толстой требует добра, правды, любви. Очевидно, что он придал тексту слишком широкое значение, сделав его краеугольным камнем своей нравственности, и вместе с тем слишком узкое, полагая, что он совместим с проповедью деятельной любви. Непротивление злу – требование отрицательное и, как таковое, может вести лишь к полному устранению от жизни. Здесь очевидная путаница.

Кроме этого, никогда я не понимал и теперь не понимаю, почему вместо текста отрицательного Толстой не сделал краеугольным камнем текст положительный, о деятельной любви, например: “Вера без дел мертва есть”? Много бы путаницы избежал он в таком случае. Но он настаивает, что заповедь деятельной любви целиком вытекает из заповеди непротивления злу. Как, каким образом? Дойдя до этого вопроса, Толстой всегда ставит точку и начинает говорить о другом.

Для излюбленной своей теории непротивления злу граф Толстой не признает решительно никаких ограничений, даже таких, которые проистекали бы из чисто рефлективной стороны человеческой природы. В своем знаменитом письме к Энгельгардту он говорит, что если бы улус ворвался в его дом и на его глазах стал резать его родного ребенка – он не противился бы.

В “Сказке об Иване-дураке и его двух братьях” есть такая

страница.

> “Перешел тараканский царь с войском границу, послал передовых разыскивать Иваново войско. Искали, искали – нет войска. Ждать, пождать– не окажется ли где? И слуха нет про войско, не с кем воевать. Послал тараканский царь захватить деревни. Пришли солдаты в одну деревню, выскочили дураки, дуры, смотрят на солдат – дивятся. Стали солдаты *отбирать у дураков хлеб, скотину,* дураки отдают, и никто не обороняется. Пошли солдаты в другую деревню – все то же. Походили солдаты день, походили другой – везде все то же; все отдают, никто не обороняется и зовут к себе жить: коли вам, сердешные, говорят, на вашей стороне житье плохое, приходите к нам совсем жить. Походили, походили солдаты – нет войска; а все народ живет, кормится и людей кормит, и не обороняется, а зовет к себе жить. Скучно стало солдатам, пришли к своему тараканскому царю. – Не можем мы, говорят, воевать; отведи нас в другое место; добро бы война была, а это что – как кисель резать. Не можем больше тут воевать. – Рассердился тараканский царь, велел солдатам по всему царству пройти, разорить деревни, дома, хлеб сжечь, скотину перебить. – Не послушаете, говорит, моего приказа, всех, говорит, вас расказню. – Испугались солдаты, начали по царскому указу делать. Стали *дома, хлеб жечь, скотину бить.* Все не обороняются дураки, только плачут: *плачут старики, плачут старухи, плачут малые ребята.* – За что, говорят, вы нас обижаете? Зачем, говорят, вы добро дурно губите; коли вам нужно, вы лучше себе берите. – Гнусно стало солдатам. Не пошли дальше, и все войско разбежалось”.

По смыслу рассказа “Крестник” выходит, что человек, убивший в горячности разбойника, занесшего уже топор над его матерью, совершил “великий грех”.

Мне кажется, что рассматривать подобные правила с их философской стороны совершенно излишне: надо лишь самого себя поставить в ту обстановку, которую описывает граф Толстой, и спросить себя: что я в таком случае буду делать?

Буду ли я, как дурак из сказки об Иване-царевиче, равнодушен, видя, что на моих глазах насилуют мою жену, буду ли смиренно упрашивать насильника: “Да оставайся, сердешный, совсем у нас”? Буду ли я спокоен и смирен при убийстве моих детей или матери? Я не могу оставаться спокойным, и в этом *не*

могу – лучший ответ на проповедь графа Толстого. Против возмущения моего рассудка я еще в силах бороться и в силах подчинить его себе, но против возмущения инстинкта, рефлекса, я так же бессилен, как бессилен не вздрогнуть, когда мне неожиданно воткнули иголку в спину, бессилен не чихнуть, когда раздражили слизистую оболочку носа, не сжать зрачка, когда к нему пододвинули свечу. Но инстинкт, рефлекс – это основание нашей человеческой жизни, девять десятых которой, кстати сказать, проходят в совершенно бессознательных процессах, и, "уничтожив эту основу, я уничтожу самую возможность жизни", что, впрочем, блестяще высказано самим графом Толстым в "Войне и мире".

Переходим к пятому пункту учения:

5) *Помогай ближнему и люби его.* Устанавливая это правило, граф Толстой особенно колебался, особенно искал и мучился. Как и чем можно помогать ближнему?

Его живое человеческое сердце требовало подвигов самоотречения и самопожертвования, его аналитический резонерствующий разум ни на минуту не переставал мудрствовать лукаво и в этом своем мудрствовании лукавом то и дело сталкивался с живым призывом живого человеческого сердца. Уже с детства Толстого больше всего привлекала практическая сторона христианства – учение и должно было лечь в основу всей нравственной его философии, но резонерствующий разум не позволяет так просто посмотреть на дело и, не придя, в сущности, ни к чему, доставляет своему владельцу лишь долгие муки бесплодных исканий. Всякий, я думаю, помнит, как Толстой, попав однажды в Ржанов дом в Москве, – этот притон страшной нищеты, и притом нищеты безнадежной, не знал, что сделать с оставшимися у него тридцатью семью рублями. Этот эпизод заставил Михайловского написать горькие и блестящие строки:

"Мы, – говорит Н.К. Михайловский, – в Ржановом доме, в самом центре нищеты; она, хоть и пьяная и безобразная, но подлинная и несомненная, кругом кишмя кишит. Графу Толстому нужно отделаться от 37 рублей, то есть раздать их. И посмотрите, как это оказывается трудно. Граф и сам раздумывает, и трактирщика Ивана Федотыча на совет зовет, причем этот Иван Федотыч, эта пиявица, сосущая и спаивающая нищету, оказывается и "добродушным", и "добросовестным". На совет приглашается еще и трактирный половой, и вот начинаются размышления: куда девать 37 рублей? Лакей предлагает дать Парамоновне, которая *"бывает и не емши",* но Иван Федотыч отвергает Парамоновну, потому "загуливает". Можно бы Спиридону Иванычу помочь, но и тут трактирщик находит

препятствие. Акулине можно бы, да она “получает”. “Слепому”, так тому сам граф не хочет: он его видел и слышал, какими он скверными словами ругается, и т. д. Согласитесь, что эта сцена поразительная и характерная: среди кишащей кругом нищеты граф не знает, как “отделаться” от 37 рублей, и все резонирует и резонирует, к каковому занятию даже еще и трактирщика, и полового привлекает. *Неужели это живое чувство?* Пусть всякий, действительно простой сердцем человек пойдет с 37 рублями в кармане и с решимостью от них отделаться в Ржанов дом да посмотрит хоть на Парамоновну, которая “бывает и не емши”… А тут, помилуйте, “верст на тысячу в окружности повестив свой добрый нрав” и порешив важнейшие вопросы наигуманнейшим образом, так беспокоятся о 37 рублях и так стараются, чтобы они достались, пожалуй, и такой, которая не емши, но чтобы не “загуливала”, а добродетелью сияла. Это за тридцать-то семь рублей еще и добродетель им подавай… Нет, как хотите, а живого, непосредственного чувства тут маловато”.

В конце концов граф Толстой пришел к выводу, что помогать ближнему деньгами нельзя, ибо деньги – зло; нельзя помогать ему и знанием, ибо все мы – невежды и наука призрачна; нельзя помогать и заступничеством, ибо это ведет к противлению. Чем же помогать? – *Любовью*…

Когда начался в России голод 1891–1892 годов, Толстой напечатал статью, в которой признавались ненужными денежные пожертвования голодающим и отрицалось вообще всякое активное вмешательство в жизнь, вернее, смерть миллионов людей. Так говорил резонерствующий ум. Прошло немного дней, и мы видим Толстого в самом центре нищеты, раздающего хлеб и деньги, устраивающего даровые столовые.

Так заставило его поступить глубоколюбящее человеческое сердце.

Что же делать в конце концов, как остаться чистым среди жизненной грязи, как быть нравственным среди безнравственных, правдивым среди лжи, христианином среди торжествующего учения мира? Все эти вопросы можно соединить в один: каким же путем добиться счастья и душевного спокойствия, гармонии между словом и делом, убеждениями и жизнью? В ответ на это граф Толстой выставляет перед нами идеал мужицкой трудовой жизни.

“На вопрос, что нужно делать? – пишет Толстой, – явился самый несомненный ответ: прежде всего, что мне самому нужно – мой самовар, моя печка, моя вода, моя одежда, все, что я сам могу сделать… На вопрос, нужно ли организовать этот физический труд, устроить сообщество в деревне на земле, –

оказалось, что все это ненужно, ибо человек, трудящийся сам собой, естественно примыкает к существующему сообществу людей трудящихся. На вопрос о том, не поглотит ли этот труд всего моего времени и не лишит ли меня возможности той умственной деятельности, которую я люблю, к которой привык и которую в минуты самомнения считаю небесполезною другим, ответ получился самый неожиданный. Энергия умственной деятельности усилилась и равномерно усиливалась, освобождаясь от всего излишнего, по мере напряжения телесного. Оказалось, что, отдав на физический труд восемь часов, – ту половину дня, которую я прежде проводил в тяжелых усилиях борьбы со скукой, у меня оставалось еще восемь часов".

Граф Толстой предлагает такое распределение дня:

> "День всякого человека самой пищей разделяется на четыре части, или четыре упряжки, как называют это мужики: 1) до завтрака; 2) от завтрака до обеда; 3) от обеда до полдника и 4) от полдника до вечера. Деятельность человека, в которой он по самому существу своему чувствует потребность, тоже разделяется на четыре рода: 1) деятельность мускульной силы, работа рук, ног, плеч, спины – тяжелый труд, от которого вспотеешь; 2) деятельность пальцев и кисти рук – деятельность ловкости, мастерства; 3) деятельность ума и воображения; 4) деятельность общения с другими людьми. Блага, которыми пользуется человек, тоже разделяются на четыре рода: всякий человек пользуется, во-первых, произведениями тяжелого труда: хлебом, скотиной, постройками, колодцами, прудами и т. п.; во-вторых, – деятельностью ремесленного труда: одежей, сапогами, утварью и т. п.; в-третьих, – произведениями умственной деятельности: наук, искусства; и, в-четвертых, – установленным общением с людьми. И мне представилось, что лучше всего бы было чередовать занятия дня так, чтобы упражнять все четыре способности человека и самому производить все те четыре рода благ, которыми пользуются люди, так, чтобы одна часть дня – первая упряжка – была посвящена тяжелому труду, другая – умственному, третья – ремесленному и четвертая – общению с людьми. Мне представилось, что тогда только уничтожится то ложное разделение труда, которое существует в нашем обществе, и установится то справедливое разделение труда, которое не нарушает счастия человека".

Общие замечания об учении графа Толстого. Взяв это учение в совокупности, вы видите, что оно имеет несколько разнообразных источников, из которых первый есть: ненависть к учению мира во имя учения Христа.

Мне кажется, что этот источник самый существенный, а заключенное в нем противоречие – самое конкретное и удобопонятное. В главе о писательской драме мы видели, что заставляло Толстого признавать бесполезными и даже вредными свои произведения. Он делал им очную ставку с нуждами и потребностями народа, и на этой очной мучительной ставке гениальные художественные произведения ясно выражали свою виновность. Но признание бесполезности и даже вредности достигло крайнего своего напряжения, когда граф Толстой спросил себя: чему он служит, что проповедует? Оказалось, что как сама его жизнь, так и все его произведения служат учению мира и проповедуют *силу.* Он хотел быть здоровее, умнее, славнее других, он проповедовал прелесть семейной обеспеченной жизни, которую надо завоевать. Быть здоровее, умнее, славнее других – значит быть сильнее их. Завоевать себе семейную обеспеченную жизнь можно лишь силой красоты, ума, дарования, богатства. Его лучшие герои выделяются то как хозяева, то как таланты, то есть выделяются своей силой.

Он уверовал в Христа, и служение силе, проповедь силы показались ему и преступными, и греховными.

Учение Христа – учение любви. Христос запретил своим ученикам называть кого бы то ни было погибшим и погибающим. Для него не существовало ни эллинов, ни иудеев, ни рабов, ни свободных – он знал только людей. В жизни он воплощал лишь один закон – закон любви.

Толстой как христианин идет по той же дороге. Его народные рассказы все написаны на одну и ту же тему о том, что смирение как закон любви выше какого бы то ни было другого закона, служа которому человек служит самому себе.

Это настроение Толстого превратилось в философскую систему; он говорит:

“Религия есть установленное человеком между собой и вечным и бесконечным миром или началом и первопричиной его известное отношение.

Из этого ответа на первый вопрос сам собою вытекает и ответ на второй.

Если религия есть установленное отношение человека к миру, определяющее смысл его жизни, то нравственность есть указание и разъяснение той деятельности человека, которая сама собой вытекает из того или другого отношения человека к миру.

А так как основных отношений к миру или началу его известно нам только два, если рассматривать языческое общественное отношение как распространение личного, или три, если рассматривать общественное языческое отношение как отдельное, то нравственных учений существует только три: нравственное учение первобытное дикое, личное нравственное учение языческое или общественное и нравственное учение христианское, то есть служение Богу, или Божеское.

Из первого отношения человека к миру вытекают общие всем языческим религиям учения о нравственности, имеющие в своей основе стремление к благу отдельной личности и потому определяющие все состояния, дающие наибольшее благо личности и указывающие средства приобретения этого блага.

Из этого отношения к миру вытекают нравственные учения: эпикурейское в низшем проявлении, учение нравственности магометанское, обещающее грубое благо личности на этом и на том свете, и учение светской утилитарной нравственности, имеющей целью благо личности только на этом свете.

Из того же учения, ставящего целью жизни благо отдельного человека, а потому избавление от страданий личности, вытекают нравственное учение буддизма в его грубой форме и светское учение пессимистическое.

Из второго, языческого, отношения человека к миру, ставящего целью жизни благо известной совокупности личностей, вытекают нравственные учения, требующие от человека служения той совокупности, благо которой признается целью жизни. По этому учению пользование личным благом допускается только в той мере, в которой оно приобретается всею тою совокупностью, которая составляет религиозную основу жизни. Из этого отношения к миру вытекают известные нам нравственные учения древнего римского и греческого мира, где личность всегда приносила себя в жертву обществу, так же и нравственность китайская; из этого же отношения вытекает нравственность еврейская – подчинение своего блага благу избранного народа, и нравственность нашего времени, требующая жертвы личности для условного блага большинства. Из этого же отношения к миру вытекает нравственность большинства женщин, жертвующих всею своею личностью для блага семьи и главное – детей.

Из третьего, христианского, отношения к миру, состоящего в признании человеком себя орудием высшей воли для исполнения ее целей, вытекают и соответствующие этому пониманию жизни нравственные учения, уясняющие зависимость человека от высшей воли и определяющие требования этой воли. Из этого отношения человека к миру вытекают все высшие известные

человечеству нравственные учения: пифагорейское, стоическое, буддийское, браминское, таосийское[17] в их высшем проявлении и христианское в его настоящем смысле, требующие отречения от личной воли и от блага не только личного, но и семейного, и общественного во имя исполнения открытой нам в нашем сознании воли того, кто послал нас в жизнь. Из этого другого или третьего отношения к бесконечному миру или началу его вытекает действительная, нелицемерная нравственность каждого человека, несмотря на то, что он номинально исповедует или проповедует как нравственность, или чем хочет казаться.

Так что человек, признающий сущность своего отношения к миру в приобретении для себя наибольшего блага, сколько бы он ни говорил о том, что он считает нравственным жить для семьи, для общества, для государства, для человечества или для исполнения воли Бога, может искусно притворяться пред людьми, обманывая их, но действительным мотивом его деятельности будет всегда только благо его личности, так что, когда представится необходимость выбора, он пожертвует не своей личностью для семьи, для государства, для исполнения воли Бога, а всем для себя, потому что, видя смысл своей жизни только во благе своей личности, он не может поступать иначе до тех пор, пока не изменит своего отношения к миру" (Северный вестник, январь 1895).

Толстой не считается и не хочет считаться ни с историей нашей жизни, ни с устройством нашего организма. Он теперь так же безусловно верит в силу человеческого разума и воли, как прежде, в эпоху "Войны и мира", безусловно отрицал ее. Он убеждает нас любить и верить и думает, что мы станем любить и верить, если мы поймем, как преступна и злобна наша жизнь, основанная на стремлении к силе, на преклонении перед силой, на служении силе.

Гамлету казалось порою, что один удар ножа может прекратить все его муки, колебания, сомнения. Толстому кажется, что одно усилие воли и понимания переродит нас и нашу жизнь. Он и говорит поэтому: "Одумайтесь!"

Одуматься всегда хорошо. Возражать против того, что надо одуматься, было бы преступно. Но так ли это спасительно? Во-первых, кто может одуматься? Я допускаю, что у Толстого миллион читателей. Из этого миллиона пусть сто тысяч, то есть десятая часть, пойдут по его стопам. Но что же могут эти сто тысяч сделать *с* пятьюдесятью веками истории, тысячами миллионами человечества, устройством организма и наследственностью? Толстой не признает наследственности, как Руссо; он думает, что человек родится свободным, чистым и

добрым – ну, а как наследственность существует, ну, а как человек родится не свободным, не чистым, не добрым? Ведь это последнее предположение справедливее. Толстой верует, что разум так же легко может справиться с инстинктами, как человек с муравьем. О такой силе разума история не говорит ничего, а говорит как раз обратное. Не было эпохи, когда люди не понимали, что их жизнь страшно далека от совершенства, и не было эпохи, когда это понимание совершенно перерождало бы их.

Когда-то Толстой приравнивал отдельного человека к бесконечно малой величине – дифференциалу, то есть геометрическому непротяженному центру. Это была крайность, но крайность, гораздо более близкая к истине, чем та, в которую он впал теперь. “Дифференциал” истории превратился в титана, свободно двигающего горами… Когда-то Толстой всем существом своим защищал теорию исторической необходимости. Теперь, вместо необходимости, перед нами всевозрождающая сила любви, веры, понимания. Человек, дойдя до бездонной пропасти, в испуге поворачивает в сторону, прямо противоположную, и думает, что теперь нашел истинный путь? А вдруг и там пропасть еще глубже, еще мрачнее…

Встаньте, повторяю, на точку зрения возможности и невозможности, потому что, нет-нет, на нее становится сам Толстой. Любовь – выше, чище, могущественнее денег. Это несомненно. Но можно ли было помочь любовью семнадцати миллионам голодающих? Безбрачие, учит Толстой в “Крейцеровой сонате”, выше брака. Зачем же в “Послесловии” он говорит: “Могий вместити да вместит”, и только? Если все дело в том, чтобы вместил могий вместить, то учение превращается в обыкновенную проповедь морали, спасительность которой относительна.

В проповеди Толстого есть одна сторона, к которой нельзя не отнестись с полным уважением и любовью. Никто так резко, как он, не выставлял еще противоречий нашей жизни. Но как избавиться от этих противоречий? Разрубить ли гордиев узел или развязать его? Разрубить– лучше, приятнее, честнее, но это невозможно. А раз невозможно, то…

Жить, как живется? – спросит читатель.

Такой вывод делает и сам Л. Толстой. Но этот вывод совершенно несправедлив.

Говорить, что необходимо признавать прошлое и считаться с условиями истории, ее традициями, привычками и устройством организма, злом и добром нашей жизни, нашими страстями и инстинктами – не значит проповедовать квиетизм. Кроме многих грехов у человека есть и еще один, неискупимый – грех

самонадеянности.

Это грех всякого безусловного нравственного учения.

Я не буду останавливаться на многочисленных противоречиях в учении графа Толстого и лишь упомяну о некоторых самых важных и бросающихся в глаза. Возьмите его учение о женщинах. В 1884 году он писал например: “Идеальная женщина, по мне, будет та, которая, усвоив высшее миросозерцание своего времени, отдастся своему женскому, непреодолимо вложенному в нее призванию – родит, выкормит и воспитает наибольшее количество детей, способных работать для людей, по усвоенному ею миросозерцанию…” Итак, рожать, как можно больше рожать. Перечтите теперь “Крейцерову сонату”. Смысл ее совершенно ясен; выходит, что самое лучшее совсем не рожать, и идеальной женщиной оказывается уже не та, которая отдается своему непреодолимо в нее вложенному призванию, а та, которая это самое призвание уничтожит или разрушит в себе.

Противоречие это самое любопытное именно потому, что тут речь идет о жизни и смерти. Чего, собственно, хочет Толстой – жизни ли для человечества или смерти? Положа руку на сердце – я этого не знаю и сомневаюсь, чтобы кто-нибудь это знал и мог без колебания ответить на поставленный вопрос. Проповедуя упорно трудовую жизнь, физическую работу, любовь, Толстой, по-видимому, проповедует жизнь и верит, что счастливое существование человека на земле не только возможно, но и необходимо; он ставит каждому ясную и определенную цель: нравственное усовершенствование; он пишет страстные страницы в защиту того, что хорошая христианская жизнь легче, чем та, которую мы ведем. После этого появляется “Крейцерова соната”, и в Ясную Поляну летят десятки и сотни вопросов: “Что лучше: жить или умирать?” “Крейцерова соната” всеми без колебаний была признана за проповедь смерти. В “Послесловии” Толстой идет на компромисс и говорит, что безбрачие есть идеал, вполне неосуществимый, как и все идеалы. *Раньше* ничего подобного Толстой никогда не высказывал и всегда смотрел на свое учение как на такое, которое может быть осуществлено полностью и даже немедленно.

Такие противоречия меня нисколько не удивляют; удивительно, если бы их не было. В начале 60-х годов Толстой недоумевал, кому у кого учиться – нам ли у народа или народу у нас, и защищал и то, и другое мнение; в “Войне и мире” он, низведя личность человека до дифференциала истории, вместе с тем проповедует личное и семейное счастье как лучшее из всего и, в сущности, как художник впадает в еще более резкое противоречие с собой как мыслителем; уделяя радостям и

страданиям своих “дифференциалов” столько блестящих страниц, он так успевает заинтересовать ими читателя, что этот последний очень грустит, когда один “дифференциал” умирает, или радуется, когда другая “дифференциалка” выходит замуж. На почве философии “Войны и мира” может быть создана лишь свифтовская сатира или comédie de la vie humaine.[18] Но граф Толстой так серьезно копается в душах своих “дифференциалов”, что эти души приобретают несоизмеримую важность.

Утверждали некогда, что граф Толстой – великий художник и плохой мыслитель. Это совершенно несправедливо: как мыслитель граф Толстой величина крупная. Он блестящий диалектик, его мысли всегда оригинальны, и глубокое его громадное образование несомненно. Его противоречия не те, которые то и дело встречаются у человека, плохо думающего; а *противоречия живого человеческого сердца, руководимого, однако, болезненно скептическим умом.*

Существуют формулы в химии, в нравственности, в общественной жизни. Существуют люди, для которых вся жизнь есть формула, хотя бы вроде: блажен, кто смолоду был молод. Для этих людей формула необходима, как пища, питье и одежда. Она указывает им, что сказать, как ступить, когда сесть, когда улыбнуться и даже – как любить; а главное, она указывает, как жить, не мучаясь ни нравственными, ни иными противоречиями. Формула спасительна: руководясь ею, человек может быть спокойным и неунывающим. Он знает, что родителей надо любить, Бога бояться, начальству повиноваться беспрекословно, в обществе держать себя весело; знает, что не нами мир начался и не нами этот мир кончится. Формула играет для него ту же роль, что рельсы для локомотива: и ехать легко, и в сторону никогда никуда свернуть невозможно. С формулой тепло, как в шубе или у печки, весело, как за стаканом вина, чувствуешь себя легко и приятно, как в дружеской компании.

Но никогда ни одна формула не могла подчинить себе Толстого. Он отбросил формулу личного и семейного счастья, формулу воспринятого учения; он ищет истины, как Лир искал покоя в ту страшную безумную ночь, которая, казалось, должна была сделать безумными всех. Тяжело, мучительно жить без формулы. Вы, имея миллион денег и всемирную славу, знаете, что сделать по формуле; но без нее, без этой спасительной няни, убаюкивающей и успокаивающей во сне, – что делать вам? Законно ли мое счастье? Не преступна ли моя жизнь? Не вредны ли мои дела? Ни комфорт, ни любовь, ни уважение не дают покоя ищущей душе. Судьба Толстого – судьба Агасфера. Таинственный голос ежеминутно слышится ему и говорит: иди… ищи… иди…

ищи… Он идет и ищет. Идет в великолепные салоны и находит там Борисов Друбецких, Вронских, Карениных; идет в поместья и находит там Ростовых, Нехлюдовых, Болконских; идет “к ним”, в народ, к Поликушкам, героям Севастополя… А голос не умолкает ни на минуту, и прежние таинственные слова – “иди… ищи… иди… ищи…” – слышатся постоянно. Путник устал; он видит, что дорога бесконечна, что ее черная лента, как былинная змея норманнов, обвивает весь мир, что в ее громадном кольце нельзя найти начала, исходной точки, что сама жизнь – это поток, несущийся в пропасть, – он хочет отдохнуть, забыться, хочет убить себя. Но надо идти… Запыленный, измученный, он поднимается опять, с ужасом вглядываясь во все ту же роковую загадку бытия…

Перед нами грандиозная картина вечного беспокойного искания… По легенде Агасфер попадает наконец в Иерусалим в ту роковую минуту, когда Сила предавала распятию и смерти Любовь… Агасфер вместе с ликующей рабской толпой идет по пыльной раскаленной улице, взбирается на Голгофу и вдруг чувствует, что на него упал кроткий, страдальческий взгляд, полный милосердия, сострадания, жалости. Это что-то новое, это уже не прежний повелительный голос: иди-ищи… Этот взгляд обещает отраду и надежду… “И Христос, – заканчивает легенда, – возложил на Агасфера крест свой…” На Голгофе Агасфер остановился и впервые почувствовал мир в душе, этой измученной, надломленной душе…

Такова история Толстого. От него требуют каких-то формул, упрекают его за противоречия. Он не может дать формулы: он – вечное искание, частичка того же потока, который мы зовем жизнью. Разве этот поток может остановиться?…

ГЛАВА XIV. НА ВЕРШИНЕ СЛАВЫ

В новой фазе своих верований Толстой начал раздавать свое имущество, вести простую трудовую жизнь, усиленно работать с крестьянами в поле и писать для них книги. Появляются издания “Посредника”, и народные его книжки миллионами расходятся по всей России. В 1886 году он говорил Данилевскому: “Более тридцати лет назад, когда некоторые нынешние писатели, в том числе и я, начинали только работать, в стомиллионном русском государстве грамотные считались десятками тысяч; теперь, после размножения сельских и городских школ, они, по всей вероятности, считаются миллионами. И эти миллионы русских грамотных стоят перед нами, как голодные галчата с раскрытыми ртами, и говорят нам: “Господа родные писатели, бросьте нам в эти рты достойной вас и нас умственной пищи; напишите для нас, жаждущих живого литературного слова; избавьте нас от все тех же лубочных Еруслановых Лазаревичей, Милордов, Георгов и прочей рыночной пищи”. Простой и честный русский народ стоит того, чтобы мы ответили на призыв его доброй и правдивой души. Я об этом много думал и решился по мере сил попытаться на этом поприще”. Попытки Толстого положили начало целой обширной уже литературе для народа, которая с каждым днем растет все более, но, к сожалению, еще и до настоящей минуты не выработала себе определенной цели и направления. Проповедь смирения, ненависти, презрения к умственному труду и т. д. – не редкость в этих грошовых серобумажных книжечках.

Но это одна сторона его жизни; другая, во всяком случае не менее важная, есть личные его сношения с людьми. Сотни посетителей со всех концов России, Европы и Америки ежедневно приходят к нему со своими сомнениями, страданиями, нерешенными вопросами и, подобно покойному Всеволоду Гаршину, уходят с добрым чувством, более примиренные с жизнью. Еще большая масса людей обращается к нему письменно и из Сибири, и из Америки, и на каждое серьезное письмо он шлет задушевный ответ.

Нет такой газеты, нет такого журнала, ни в Европе, ни в Америке, которые не посвящали бы ему своих столбцов и зорко не следили бы за каждым словом, выходящим из-под его пера. Совершенно справедливо замечает Н.Н. Страхов, говоря: “Большую долю всемирной известности Толстого нужно приписать не его художественным произведениям, а именно тому религиозно-нравственному перевороту, который в нем совершился и смысл которого он стремился высказать и своими

писаниями, и своею жизнью". Как бы мы ни судили об этом перевороте, но, очевидно, образованный мир был поражен зрелищем человеческого существования, в котором с такою силою, без всяких внешних толчков, сказались вечные запросы души человеческой. Нужно отдать людям должное: никакое литературное мастерство не могло привлечь их любопытства и уважения в такой степени, как та душевная история, которая совершилась и совершается пред их глазами в Ясной Поляне. Некто Лилиенбах высказывает следующее: "Во всех образованных слоях обоих полушарий Толстой является любимым писателем". Поль Флобер сравнивает его с Шекспиром, а Мэтью Арнолд считает его самой мощной силой в области литературы. Посмотрим же, как живет теперь Лев Николаевич. Любопытную картину этой жизни дает нам Всеволод Гаршин в своем описании посещения Ясной Поляны.

"Прибыв в Ясную Поляну, – говорит он, – я застал Льва Николаевича за кладкой печи у одной вдовы-крестьянки. Я спрашивал у встречных крестьян, не видали ли они Льва Николаевича? Мужики мне отвечали с особенным удовольствием, что граф уже на работе. Войдя в указанную избу, я застал Льва Николаевича перед печкой. Он был погружен в работу и лишь изредка перекидывался словом с хозяйкой. Если бы я раньше не видел Толстого, я бы на этот раз мог его принять за кого-нибудь из деревенских рабочих. Его грязная, вымазанная сажей и глиной белая рубашка, ремешок вместо пояса, просторные крестьянские сапоги," по голенище запачканные в глине, вполне гармонировали с красивой головой и широкой спиной, на которой выступал сквозь рубашку обильный трудовой пот. Хозяйка же, без малейшего раболепства, даже, можно сказать, по-товарищески, подавала ему советы и, вероятно, в труде Льва Николаевича не видела ничего особенного: ей просто помогал добрый человек.

После завтрака Лев Николаевич пошел читать или писать и часа через полтора пришел к той избе, где намеревался поставить крышу на сарае. Он оказался в том же наряде, исключая блузы, которую он переменил на более чистую. Вероятно, всякому известно, что Лев Николаевич денежной помощи нуждающемуся человеку не признает, но у себя в деревне он старается принести посильную помощь крестьянам личным трудом, доставлением материала для построек и для посева".

Теперь является вопрос: почему же Лев Николаевич предпочитает помогать крестьянам не деньгами? И этот вопрос задал ему Гаршин, увидав, что дочь графа работает на поле одного из бедных крестьян.

“Я думаю, – сказал ему Толстой, – что обязанность каждого человека – работать для других, кто нуждается в помощи, и работать по крайней мере часть дня своими руками. Лучше работать для бедного и с бедным в его особом занятии, нежели работать на высшем, более высоком и, пожалуй, более вознагражденном интеллектуальном поле и давать бедным результаты. В первом случае вы не только помогаете тем, кто нуждается в помощи, но вы показываете, что вы не считаете их прозаическую работу ниже своего достоинства, то есть вы научаете их самоуважению. Если же вы работаете исключительно на вашем более высоком интеллектуальном поле и даете бедняку результат вашего труда, как вы давали бы милостыню нищему, то вы поощряете леность и подчиненность; вы устанавливаете социальное, сословное различие между вами и принимающими вашу милостыню, вы разрушаете в нем уважение и доверие к себе”.

Вернемся к воспоминаниям Гаршина. “Итак, Лев Николаевич отправился после завтрака класть крышу на сарае бедной деревенской вдовы, которой, по примеру Льва Николаевича, пришел помогать сосед-мужичок и еще какой-то паренек. Этот мужик, Прокофий, худой, истощенный, заправлял работами и действительно, входя в роль, командовал как следует, без стеснения. Льву Николаевичу нравилась его новая работа. Он с видимым наслаждением подпиливал бревна, вырубал гнезда для стропил, обстругивал деревянные гвозди. При постановке стропил Лев Николаевич выказал значительную силу и ловкость, перетаскивая громадные бревна и поднимая их вверх. Лев Николаевич строил сарай *в первый раз* и относился к этой работе с тою же любовью, как и к кладке печи на краю деревни.

Всякий день, пока я был у Льва Николаевича, он после завтрака отправлялся на деревню доканчивать вдовий сарай и возвращался домой поздно. Работал он неутомимо, так что Прокофий не раз с сердечным удовольствием говорил: “Ишь, ишь, куда полез дед. И не смается”. Все, кому нужно было видеть Льва Николаевича, являлись к нему в деревню и тут же, или помогая ему, или просто сидя на бревнышках среди навоза, беседовали с ним. Во время отдыха, около пяти часов, если Лев Николаевич не уходил домой, все усаживались в ближайшей избе и, утоляя свой голод хлебом и квасом, снова рассуждали о явлении борьбы за существование и прочем”. В заключение Гаршин говорит: “Нужно удивляться Толстому в его умении распределять свое рабочее время. Постоянно занятый физическим трудом, развлекаемый массою посетителей знакомых и незнакомых, он находил время отвечать на письма, читать, думать и писать самые разнообразные

вещи, начиная с рассказов для народа и кончая рассуждениями на тему мировых вопросов”.

Рафаил Левенфельд, посетивший Толстого в 1890 году, рассказывает, что во время его пребывания Лев Николаевич ежедневно отправлялся работать в поле, где рядом с ним помогала крестьянкам и дочь его Марья Львовна, и ежедневно его навещали различные посетители: то приходила девушка из деревни, то приезжали за “Крейцеровой сонатой”, то издалека являлась какая-нибудь барыня, просто чтобы увидеть его и пожать ему руку. Тут же пришел из дальней деревни крестьянин посоветоваться с ним о домашних делах. Лев Николаевич, внимательно выслушав крестьянина, обстоятельно разъяснил ему, как нужно, по его мнению, во всех затруднительных случаях поступать согласно учению Христа, и крестьянин, тронутый до слез, удалился, обещаясь исполнить все так, как посоветовал ему Толстой.

Голодный 1891/92 год прибавил новую блестящую страницу к биографии Толстого, страницу, которой я и позволю себе заключить свой очерк. Мы видели, как он учил и искал правды, как переходил от служения силе к служению труду и наконец – любви. Любовь завершила цикл развития и осенила своим крылом могучую больную душу…

История голодного года еще слишком на памяти у всех нас, чтобы надо было ее рассказывать. Мы видели грустное и печальное зрелище громадных пространств, занесенных снегом, под которым без одежды, без пищи, без дров, без слова жалобы, а с тихой покорностью умирали сотни и тысячи людей, не зная, зачем они жили, еще меньше зная, зачем они умирают… Мы в это время устраивали филантропические чтения и филантропические танцы, мы грустили, что так все это нехорошо вышло, мы почувствовали в душе обновляющую силу сострадания – увы! ненадолго, но мы не знали, что делать. Толстой первый нашел выход. Вместе со своею семьей он первый отправился в среду голодающих и, пользуясь своим славным именем, кормил в устроенных им столовых сотни и тысячи людей. Он ни на минуту не покидал своего поста. Пожертвования шли к нему со всех концов России, Европы, Америки. Он сделал что мог, спасая близких от голодной смерти.

Наперекор своему учению, он брал деньги, раздавал деньги, помогал деньгами. Так горячий ключ, занесенный снегом, пробивает ледяную кору и жаркой греющей струей вырывается наружу. Так любящее человеческое сердце, замолкшее под холодным резонерством, начинает биться с прежней силой любви и сострадания, несмотря на ледяную кору логических аргументов,

раз это сердце есть, раз оно способно любить, сострадать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Толстой начал свою литературную деятельность в 1851 году, выступив “Детством” в “Современнике” Некрасова. “Детство” обратило на себя внимание, хотя преимущественно лишь в кружках, прикосновенных к литературе. “Севастопольские рассказы” сделали имя Толстого популярным в широкой публике, но истинная слава последовала лишь за “Войной и миром” (1865–1869 годы). В Европу произведения Толстого стали проникать лишь в 70-х годах, хотя сначала довольно туго. Начало учения относится к 1881 году.

Таков послужной литературный список графа Толстого, охватывающий собою тридцатитрехлетний период. За эти тридцать три года русская публика сменила несколько кумиров, из которых каждому в свое время поклонялась до упаду. В 50-х годах первенствовал Тургенев, в 60-х – Островский, отчасти Тургенев и Писемский, в 70-х, как ни странно такое сочетание имен, – Достоевский и Щедрин, но 80-е годы почти безраздельно принадлежат Толстому, который, как указал я выше, доставлял почти всю умственную пищу второй их половине.

В литературу эпитет “великий” был пущен Тургеневым в его предсмертном письме к Толстому. Толстой назван здесь великим писателем земли русской. Тургенев, заметим, имеет в виду исключительно художественные произведения.

Под определением Тургенева нельзя не подписаться, и величие Толстого как художника не требует доказательств. Мы и не будем этого доказывать и, основываясь отчасти на громадной критической литературе, отчасти на собственном изучении, постараемся дать оценку художественного дарования Толстого, не надоедая читателю восторгом и восклицательными знаками.

Сначала о слоге. Это не слог Тургенева, гладкий и полированный, несущий на себе следы тонкой ювелирной работы, красивый и легкий, как афинские постройки, не слог Достоевского, нервный, пронизывающий, подчас растрепанный, – это слог ясный, простой, сильный, украшенный меткими и оригинальными образами и почти всегда небрежный. В молодости Толстой заботился о красоте и изяществе языка: в “Казаках” (1861 год) есть еще страницы стиля, но, начиная со статей в журнале “Ясная Поляна”, стиль исчез. В слоге Толстого есть многое, что напоминает характеристику его внешности, данную как-то Тургеневым: “Это, – писал Тургенев, – человек высокого роста, могучего сложения, по наружному виду дюжий и свыкшийся с деревенскою жизнью (rustique). Не совсем

правильные черты лица обличают ум необыкновенный”. В этом портрете вы как бы узнаете героя-богатыря, Микулу Селяниновича нашей литературы. Толстой на самом деле не заботится о фразе и не боится сделать стилистическую ошибку. К красивым, изящно построенным фразам он питает искреннее отвращение, и это отвращение появилось у него уже в юности. Тогда он, между прочим, нападал на Пушкина за то, что тот писал стихами. Стихов Толстой не любит и теперь, хотя сам два раза согрешил в этом отношении – оба раза, впрочем, в шутку. Стилистических неправильностей можно найти немало даже на лучших страницах “Войны и мира”, но странно, этот не всегда красивый и всегда небрежный слог в конце концов начинает нравиться вам больше всякого другого, все равно как некрасивое даже лицо любимой женщины нравится вам больше, чем лицо Мадонны. Слог Толстого, как и все толстовское, подкупает и порабощает вас своей мощью, запасом громадной заключенной в нем силы и наконец своей ясностью и точностью. “Разница между мною и Пушкиным та, – говорил Толстой Берсу, – что Пушкин, описывая художественную подробность, делает это легко и не заботится о том, будет ли она замечена и понята читателем, а я как бы пристаю к читателю с этою художественной подробностью, пока ясно не растолкую ее”. Прибавить лишнюю вводную фразу или лишнее придаточное предложение Толстой не остерегается. Он пишет, точно дом строит на каменном фундаменте, и знать не хочет, будет ли это красиво: главное, чтобы было тепло, удобно, прочно, и что за беда, если какой-нибудь флигель (придаточное предложение) выпятится вперед?

Отсутствие фразы в стиле вводит нас в самую глубь психологии Толстого как художника: он всегда и неизменно искренен. Он пишет то, что думает, и только так, как думает. Это очень важное обстоятельство, и я не могу удержаться, чтобы не напомнить маленького остроумного рассуждения Берне на эту тему: “Удивительная вещь этот письменный стол, это перо, бумага и чернильница! Кажется, нет более невинных предметов, а между тем… Я знаю людей умных, честных, безусловно правдивых, но стоит им только взять в руки невинное перо, придвинуть к себе невинный лист бумаги и сесть за невинный письменный стол, как сейчас же они начинают писать не то, что думают, или, по крайней мере, не так, как думают. Что бы это значило – не знаю, но я знаю вот что: человек, который за письменным столом не может быть так же искренен, как сам с собой, со своим другом, с любимою и преданною женщиною, никогда, даже под угрозой личного знакомства с Меттернихом, не должен садиться за невинный стол и брать в руки невинное перо.

Моя статья – мое родное излюбленное детище, а не любовница, купленная за деньги”… Так писать, как того требует Берне, могут лишь литературные избранники, и даже не все литературные избранники, потому что Цицерон, Петрарка, Гейне несомненно допускали фразу. Чтобы перед письменным столом сохранить полную искренность, не дать себя увлечь в сторону стиля ни одной случайности – надо видеть в своих созданиях родное детище и понимать, что это детище ищет правды и будет, в сущности, живо лишь этой правдой. Небрежный в слоге, Толстой по 30–40 раз переделывает каждое свое произведение, а его гигантская эпопея “Война и мир” переправлялась и переписывалась *семь* раз. Искренность всегда проста, и, в сущности, идеально прост слог Толстого: его фразы, как ветви и листья дерева, располагаются свободно и просто, нисколько не заботясь, какое впечатление произведут они на глаз просвещенного туриста.

Лишенный фресок и арабесок, слог Толстого эпически спокоен. В нем нет и следа нервности, присущей Достоевскому, нет лирических порывов и даже лирического беспорядка многих страниц Гоголя. Толстой пишет, как будто решает сложную математическую задачу со множеством неизвестных, понимая, что пропустить что-нибудь, самую мелочь, самую простую подстановку– значит непременно прийти к ошибке и неверности. Эпическое спокойствие изложения есть одна из характернейших особенностей художественного дарования Толстого. Она зависит от многого и прежде всего от громадной, почти феноменальной художественной памяти великого писателя земли русской.

> “Толстой помнит все жизненные процессы так счастливо, *что,* вызывая их из прошлого в своем воображении, он их может списывать с действительности посекундно, как если бы они развертывались перед ним живьем и во всякую минуту останавливались по его воле перед его умственным взором, чтобы он успевал захватить из них все необходимые ему подробности. Понятно поэтому, что, поставленный лицом к лицу с этой волшебной ярко вспыхнувшей картиной в качестве спокойного наблюдателя, Толстой может, так сказать, сотворять минувшую действительность во втором экземпляре, без всякой фальши, порождаемой забвением характернейших частностей события или, наоборот, вызываемой важною окраской произвольными ретушами того, что когда-то было так просто и что невольно кажется из отдаления чем-то непомерно значительным.

Часто бывает, что писатель в своем отношении к некогда пережитому событию смешивает впечатления прошлого и переносит чувства, навеянные одним событием, на другое, хотя и сродное с изображаемым, но во многом от него отличное, – смешивает различные источники радости, грусти, тревоги и т. д. С Толстым ничего подобного не может случиться. Для него не существует никаких обманов зрения, когда он смотрит в перспективы прошлого. Читая толстовское описание бала, смерти, дождя, родов, сражения, переезда на дачу, раздумья в кабинете, венчания и т. д.,– вы удивляетесь не только всеобъемлемости воспоминаний автора, но и упорной энергии самого описательного процесса. Этому художнику совсем неведомы такие житейские факты, которые бы, несмотря на кажущуюся незначительность, не раскрыли бы в себе, при ближайшем внимании, своих интересных особенностей. Поэтому, за что бы ни взялся Толстой, он может вам дать целую главу – и вы, нимало не беспокоясь о приостановившейся фабуле романа, начинаете входить в материю какого-нибудь самого будничного эпизода с неизменно живым, возрастающим участием.

Спокойствие и выдержка творческого процесса у Толстого делают то, что в предметах, неизбежно волнующих самого писателя, Толстой никогда не делает пропусков против жизни, и, сколько бы ни была тяжела и мучительна тема, Толстой никогда не утомится настолько, чтобы прозевать правду и прийти, под влиянием собственной надорванности, к концу ранее, чем следует. Так он провел Ивана Ильича через все мытарства долгого умирания, от простого ощущения неловкости до нестерпимых болей, сопровождаемых бессознательным, животным выкрикиванием одного лишь страшного звука “у!., у!..”.

(С.А. Андреевский).

Вторая причина эпического спокойствия изложения – это выстраданная и выношенная страсть, которая чувствуется за каждой страницей, вышедшей из-под пера Толстого. Из биографии читатель видит, что если Толстой и выражает просто свои мысли, то приходит он к своим мыслям не только не просто, а путем самых жестоких внутренних мук. Не знаю, был ли он счастлив когда-нибудь в своей жизни: он о своем счастье упоминает только один раз в письме к Фету, две недели после

свадьбы. А Левину, двойнику Толстого, его личное счастье постоянно кажется ненатуральным, неестественным, отчасти даже преступным. Я думаю, всякий замечал или читал по крайней мере, что сильные люди спокойны в самые критические минуты, хотя бы это было спокойствие смерти. Признаюсь откровенно (быть может, это крайность), эпический тон Толстого в некоторых сценах, например в сцене убийства Верещагина или смерти Андрея Болконского, напоминает мне спокойствие могилы, в которой бьется, рычит и корчится зарытый в нее живой мертвец.

Третья причина эпического спокойствия изложения Толстого – его громадный аналитический умственный аппарат. Эта особенность гения Толстого отмечена давно и блестяще проявилась уже в “Детстве”; кульминационного же пункта она достигла, по моему мнению, в “Смерти Ивана Ильича”. Иностранные и русские критики зовут Толстого художником-анатомом и видят в этих анатомических приемах творчества причину и силы, и слабости автора “Войны и мира”. Выступая в печати со своим пронизывающим психологическим анализом, Толстой рисковал быть непонятым, потому что, наполняя свои страницы длинными монологами действующих лиц – этими причудливыми молчаливыми беседами людей “про себя”, Толстой создавал совершенно новый смелый прием в литературе: таких монологов до него не писал еще никто. Но он заставил слушать себя, заставил читателя, затаив дыхание, следить за бесконечной вереницей мыслей, пробегающих в голове его героев, за всеми мимолетными настроениями их сердца, за всеми прихотливыми арабесками их фантазии. Но вместе с тем, почему в крупных произведениях Толстого нет, строго говоря, ни одного лица, которое мы могли бы любить или ненавидеть? Ни Наташа Ростова, захватывающая сначала читательское сердце своей жизнерадостной молодостью, ни Пьер Безухов, этот толстый добродушный умный человек, не могут стать нашими любимцами. Все равно как в житейских отношениях ни привязанность, ни дружба, ни любовь не устоят, раз вскрыты все душевные тайники любимого человека, так и в искусстве, в романе. Герои Тургенева являются всегда перед нами при несколько фантастическом освещении, как бы при лунном свете или свете молнии; герои Толстого всегда, по счастливому выражению С.А. Андреевского, ходят с освещенными внутренностями, и в конце концов мы под очаровательной жизнерадостностью Наташи Ростовой видим лишь эгоизм самки, за философией Андрея Болконского – его сословную гордость, за достоинствами Безухова – его самодовольство, иногда, как в “Эпилоге” например, просто даже обидное. Раньше мы видели,

что громадный аналитический аппарат Толстого роковым образом вел его к пессимизму и меланхолии: Толстой слишком всматривался в себя и людей, чтобы не разглядеть в глубине души каждого из нас чего-нибудь очень и очень далекого от совершенства.

Такие-то стороны гения Толстого создали его стиль – этот ясный, точный стиль, привлекающий читателя не красотой, не изяществом, а своей силой, серьезностью, искренностью. Не торопясь, не нервничая, Толстой шаг за шагом подчиняет себе воображение и ум читателя; накладывая штрих на штрих, он рисует своих героев, точно высекая из мрамора. С каждым ударом молотка отделяется лишь несколько пылинок камня; нужны сотни тысяч этих ударов, чтобы из глыбы вышла фигура; нужны тысячи штрихов, чтобы портрет Толстого был готов. Как Гомер, описывая щит Ахиллеса, не пропускает ни одной линии, так и Толстой не пропускает ничего из душевной жизни своих героев…

Он реалист в полном смысле этого слова, хотя его реализм имеет много особенностей, несущих на себе резкую печать огромной его индивидуальности. Французы, любящие формулы, называют этот реализм “идеалистическим”, противопоставляя его реалистическому натурализму Флобера, Золя, Мопассана. Посмотрим, в чем тут суть. Прежде всего заметим, что Толстой почти никогда не выдумывает. Большая часть его произведений носит автобиографический характер. В “Детстве”, “Отрочестве”, “Юности” он рассказал свои собственные детство, отрочество и юность; в “Утре помещика” – свои собственные неудачные попытки осчастливить крестьян по программе просвещенного помещика; в “Люцерне” – свои собственные заграничные впечатления, как в “Севастопольских рассказах” то, что он видел в дни знаменитой осады. “Война и мир” явилась плодом долгого изучения исторических документов, относящихся к 12-му году, и, кроме того, здесь масса лиц, списанных с натуры. Пьер Безухов, например, – одно из воплощений самого Толстого; Марья Волконская – его мать, Николай Ростов – отец и т. д. Разумеется, Толстой то и дело отступает от факта, но излишнего простора своему воображению он не дает никогда. В “Анне Карениной” мы видим то же самое, так как трудно не узнать в Левине самого Толстого, и известная сцена объяснения в любви между Левиным и Кити произошла в действительности в 1862 году между самим Толстым и Софьей Андреевной Берс, теперь графиней Толстой. Биографию Толстого можно смело написать по его собственным произведениям, и она выйдет полной, особенно во всем, что касается душевной жизни великого писателя. Не упоминаю уже об “Исповеди”, где Толстой раскрыл свою душу с такою

откровенностью, с какой никто раньше его не делал, даже Руссо, хвастающий искренностью в своих “Confessions”, вся последняя часть которых оказывается, однако, бредом человека, страдающего манией преследования. Толстой рассказал нам все – и крупное, и мелкое из своей жизни, не забыл даже историю своих собак Милки и Бульки, эпизода на медвежьей охоте, когда медведица едва не разгрызла ему черепа, ни того, как он едва не попался в плен на Кавказе.

Эготизм Толстого постоянен, и он ни на минуту не может отказаться от него, даже когда выводит на сцену не себя; а других людей.

> “Над печалями и радостями его лиц всегда витает все тот же знакомый нам гений; мы знаем, что он, этот гений, разберет по косточкам каждое их горе и каждую радость и даст нам свои выводы о жизни, – выводы человека, одаренного глубочайшим проникновением в недра действительности, который пронизывает эту действительность до самых сокровенных ее тайников, побуждаемый неутомимым исканием истины, и который во всех направлениях с горечью наталкивается в конце концов на зловещее серое пятно, заслоняющее собою всякие дальнейшие искания”.
>
> *(С.А. Андреевский).*

Толстой в одной из самых последних свои статей, именно в предисловии к переводу дневника Амиеля, заметил между прочим:

> “Писатель ведь дорог и нужен нам *только в той мере, в которой он открывает нам внутреннюю работу своей души,* само собой разумеется, если работа эта новая, а не сделанная прежде. Что бы он ни писал: драму, ученое сочинение, повесть, философский трактат, лирическое стихотворение, критику, сатиру, – нам дорога в произведении писателя только эта внутренняя работа его души, а не та архитектурная постройка, в которую он большею частью, да, я думаю, и всегда, уродуя их, укладывает свои мысли и чувства”.

Слова эти как нельзя лучше приложимы к самому Толстому: нам-то он и дорог прежде всего потому, что открывает внутреннюю работу своей души, и работа эта действительно нова.

Итак, самонаблюдение, никогда не покидающее Толстого, его

собственная семейная хроника и исторические документы, на изучение которых он тратит целые годы, – вот почва его реализма… Но, повторяю, это реализм особенный, уживающийся с безмерною субъективностью и в высшей степени оригинальным идеализмом как в научном, так и в обыденном значении этого слова.

По словам Вогюэ, Толстой всегда остается “высшим судьей своих персонажей, как президент суда относительно подсудимых”. Типы Толстого один из русских критиков называет “замаскированными приговорами”. Это совершенно справедливо, и это нисколько не мешает реализму. “Толстой, – продолжает Вогюэ, – отводит место тривиальности, потому что она встречается в жизни и потому еще, что он желает живописать жизнь во всей ее полноте; но так как он не чувствует пристрастия к сюжетам тривиальным, то он дает им место второстепенное, какое они занимают и в действительности. На улице, в гостях наталкиваешься иногда на отвратительные предметы; редко где их не встретишь. Толстой показывает как раз то, что следует, чтобы не заподозрили, что улица и дом заранее прибраны”. Не избегая так называемых соблазнительных сцен, Толстой, однако, отличается полным целомудрием своей фантазии, так что его произведения, даже “Анну Каренину”, можно дать любой неиспорченной девушке, не боясь, что чтение испортит ее. Если он то и дело изображает пошлость, мелочность, эгоизм, чисто животные ожесточенные половые влечения – то кто же виноват в этом? Но рядом с этим он отводит то и дело место *героизму* – чувству, которое он, по-видимому, наиболее ценит в человеке. Та страсть, которую Фурье называл унитой (страстью единения), страсть, возводящая в высокую степень волю отдельного человека, и для Толстого, как для Фурье, является венцом человеческой природы.

Реалист до мозга костей, Толстой идеалист уже потому, что он всегда тенденциозен, что он всегда моралист. Моральный элемент он считает необходимым в каждом художественном произведении; он винит Гете за отсутствие этого морального элемента и радуется, видя его у Лермонтова. Свой разрыв с петербургскими литературными кружками, где в 50-х годах процветало “чистое” искусство, Толстой объяснял гордыми словами: “Я буду писать, но не так, как вы, потому что я знаю, *зачем* я буду писать”. Зачем? Затем, чтобы проповедовать, учить, потому что Толстой столько же художник, сколько моралист, философ. Он хочет, как Сократ, учить людей *благу*. Правда, смысл этого блага часто менялся в течение тридцатитрехлетней литературной деятельности, пройдя через три момента

определения: *силу,* обеспечивающую личное благо, *труд* – обеспечивающий общее благо, *любовь,* обеспечивающую блаженство. Мы еще вернемся ко всему этому, пока же заметим, что последняя формула, к которой пришел Толстой и которую он проповедует, такова: “Мир между людьми есть высшее доступное на земле благо людей”.

Итак, перед нами художник и моралист, поэт и философ, реалист и идеалист. Мы видели источники толстовского реализма, которые перечислили, кажется, все, начиная с огромной памяти и кончая изучением исторических документов. Где же источники идеализма? Их два:

1) религиозность;

2) народничество.

Из всего того, что написал Вогюэ о Толстом, – а он написал очень много умного, – мне больше всего нравится одно блестяще развитое французским критиком положение: “За всем, что изображено Толстым, – говорит Вогюэ, – чувствуется присутствие чего-то огромного, страшного, таинственного”… Это присутствие чего-то огромного, страшного, таинственного поражает французского критика, но оно не должно поражать нас, русских читателей, потому что Толстого мы узнали после Гоголя, Достоевского и – хотелось бы прибавить – Лермонтова. Это что-то огромное, страшное, таинственное есть загадка человеческой жизни. Позволю себе привести из “Войны и мира” страницу, которую справедливо считают характернейшей для понимания Толстого. Вот эта страница:

> “Только выпив бутылку и две вина, Пьер смутно сознавал, что тот запутанный, *страшный узел жизни,* который ужасал его прежде, не так страшен, как ему казалось. С шумом в голове, болтая, слушая разговоры или читая после обеда и ужина, он беспрестанно видел этот узел, какою-нибудь стороной его. Но только под влиянием вина он говорил себе: “Это ничего. Это я распутаю – вот у меня и готово объяснение. Но теперь некогда, – я после обдумаю все это!” Но это *после* никогда не наступало.
>
> Натощак, поутру, все прежние вопросы представлялись столь же неразрешимыми и страшными, и Пьер торопливо хватался за книгу и радовался, когда кто-нибудь приходил к нему.
>
> Иногда Пьер вспоминал о слышанном им рассказе о том, как на войне солдаты, находясь под выстрелами, старательно изыскивают себе занятие для того, чтобы

> легче переносить опасности. И Пьеру все люди представлялись такими солдатами, спасающимися от жизни: кто честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто вином, кто государственными делами. “Нет ни ничтожного, ни важного, все равно; только бы спастись от нее, как умею! – думал Пьер. – *Только бы не видеть ее, эту страшную ее”.*

Только бы не видеть ее! Да разве вся драма жизни Толстого не в этом восклицании? Разве не приходилось ему десятки, сотни раз завидовать людям, у которых на все готовые формулы, на все готовые меню – на обед и ужин, на любовь и брак, на радость и горе, на ум и глупость?… Всю долгую жизнь смотрела на Толстого смерть своими страшными глазами, всю долгую жизнь видел он перед собой таинственную пропасть вечности. Он сказал недавно об Амиеле вот что:

> “В продолжение всех 30-ти лет своего дневника он чувствует то, что мы все так старательно забываем, – то, что мы все приговорены к смерти и казнь наша только отсрочена. И от этого-то так искренна, серьезна и полезна эта книга”.

Да, страх смерти, страх перед той страной, откуда никто не возвращался, – такова красная нить жизни Толстого. Он искал забвения в карточной игре, в кутежах, в поцелуях любимой женщины, в низведении человеческой личности, а значит и себя самого, к дифференциалу, то есть бесконечно малой величине истории, в религиозном и нравственном резонерстве и… что же он нашел? Спокойствие духа… Из-за этого не стоило хлопотать так долго, не стоило так много страдать… Противопоставьте все то, что говорил Толстой о знаменитых упряжках, общем благе, общем счастье и т. д. – раскрытой могиле, где скроются и упряжки, и физический труд, и семейное счастье, и общее счастье, – и вы получите тот самый нуль, с которого начал граф Толстой.

Но это искание и есть источник идеализма Толстого. Ему как живому человеку нужен Бог, во имя которого можно даже уничтожить себя. Он искал Бога всю жизнь и нашел его наконец, как и следовало, на Голгофе. Этот Бог – любовь, самоотречение.

Чтобы *тебя* не было – вот единственный путь человеческого счастья. Возьми семью и уйди в ее жизнь. Так сделал Левин. Возьми народ и уйди в его жизнь. Так сделал сам Толстой. Возьми

любовь и претвори в ней свой эгоизм – так сделал опять-таки сам Толстой. Только чтобы тебя не было, не было бы твоей требовательной, себялюбивой личности, иначе – страх смерти, ужас смерти, невозможность примириться со смертью…

Как и Достоевскому, религиозная проблема всегда представлялась Толстому наиважнейшей. Как он сам, так и все его герои заняты прежде всего исканием Бога.

Андрей Болконский и Безухое в “Войне и мире”, Левин в “Анне Карениной”, десятки других лиц, несмотря на свою внешнюю счастливую обстановку, постоянно ощущают какую-то неудовлетворенность, отравляющую им лучшие минуты. Оттого-то Толстой, несмотря на свою огромную художественную память, никогда не мог унизиться до протокола… Наделяя главных своих действующих лиц муками неверия, ставя их то и дело с глазу на глаз с загадкой жизни, Толстой этим самым задает себе и решает нравственно-религиозные вопросы.

В ответах, которые он дает, можно заметить всегда одну характерную особенность. Толстой практичен. Его тянет к работе, к деятельности. Из религии он прежде всего извлекает ее действенный элемент. Вопрос о смысле жизни то и дело подменяется у него вопросом: “Что же мне делать?”

Второй источник идеализма Толстого – его народничество. С народничеством русский читатель знаком хорошо, поэтому мне нечего особенно о нем распространяться. В современной своей форме оно явилось в 40-х годах, и в основе его лежало сострадание и любовь к крепостному бесправному мужику. С той поры Антоны-Горемыки, Хори и Калинычи заполонили нашу литературу. В 70-х годах было в шутку замечено, что сквозь толпу литературных мужиков так же трудно протолкаться, как за десять лет перед тем сквозь “жаждущих знания и просвещения” барышень. Народничеству или отдали свою дань, или неизменно служили почти все замечательные писатели земли русской. Список их длинен: Григорович, Тургенев, Щедрин, Достоевский, Решетников, М. Вовчок, В. Слепцов, Гл. Успенский, Л. Толстой, В. Короленко и т. д. – все это народники, хотя, разумеется, каждый по-своему. По-своему народник и Л. Толстой. С его легкой руки, между прочим, привилась литературная тема о стремлении интеллигента сблизиться с народом и в нем найти правду жизни. Теперь это тема совсем захватанная, но в 1861 году она имела всю прелесть новизны, разработанная к тому же вероятно в лучшем из чисто художественных произведений Толстого – повести “Казаки”.

Противопоставлением народа и интеллигенции Толстой занимается постоянно. Этому противопоставлению посвящены все

кавказские и севастопольские рассказы, “Утро помещика”, “Три смерти”, лучшие страницы “Войны и мира”, “Плоды просвещения”. Толстой несомненно идеализирует народную жизнь, хотя бы и испорченную уже фабрикой, солдатчиной и пр. Мерзость этой жизни, выставленная во “Власти тьмы”, как бы уравновешивается фигурой старца Акима, душа которого младенчески чиста. Мы выше подробно разобрали народнические тенденции графа Толстого; мы видели, с какими запросами обращалась к народу его надломленная интеллигентная душа, с каким напряжением искал он правды в детски бессвязных речах Каратаева, как томила его громадность долга нашей цивилизации перед народом… Всему этому посвящена наша биография.

Л.Н. Толстой. Гравюра XX века

ИСТОЧНИКИ

1. Полное собрание сочинений Льва Толстого, изд. 9-е.

2. Исповедь. В чем моя вера.

3. Leo Tolstoj, *von R. Löwenfeld.* 1. Bd.

4. Gespräche mit und über Tolstoj, *von R. Löwenfeld.*

5. Берс. Воспоминания.

6. Проф. *Загоскин.* Студенческие годы графа Льва Николаевича Толстого. – Исторический вестник, январь 1894.

7. Статьи *Н.К. Михайловского, А.М. Скабичевского, Д.И. Писарева, Н.М. Страхова, С.А. Андреевского, Вогюэ, Брандеса, Циана.*

notes

Примечания

1

Комильфо – приличный, соответствующий правилам светского приличия *(фр.)*.

2

Mauvais genre – дурной тон, неумение вести себя *(фр.)*.

3

“Я был очень приличным человеком” *(фр.)*.

Mon frère – мой брат *(фр.)*.

5

Да, хороший табак, турецкий табак, а у вас другой табак – русский? хороший? *(фр.)*.

6

Они не симпатичные, эти русские *(фр.)*.

Над чем же они смеются? *(фр.)*.

8

Не выходи из строя, все на свои места, черт возьми! *(фр.)*.

9

Герой одного из романов Ауэрбаха, имеющий некоторое отдаленное сходство с Левиным.

10

Искусство обширно, а жизнь коротка *(лат.)*.

Великих людей *(фр.)*.

12

Отсюда гнев *(лат.)*.

13

“По раскрытой книге”, без подготовки *(фр.)*.

“Великую французскую республику” *(фр.)*.

15

“Мама, моя бедная мама” *(фр.)*.

16

Из индивидуального ничтожества в первозданное ничто *(нем.)*.

17

Даосское.

18

Комедия человеческой жизни *(фр.)*.